

Таш Эниклис



ТОВИТУМНЛОТ

18+

Таш Эниклис

Повитухин Лог

<https://litres.ru/73776899>

SelfPub; 2026

Аннотация

ВНИМАНИЕ!

ВРЕМЯ ДАННОЙ ЦЕНЫ ОГРАНИЧЕНО!

Она сорок лет принимала чужих детей. Но свое материнство похоронила вместе с тайной, о которой запретила вспоминать даже себе.

Людмила — акушерка из провинциального городка. Она не верит в приметы, знахарок и деревенскую чертовщину. Только в свои руки и крепкий сон после смены.

Отпуск в Замшелом должен был стать тихим примирением с сестрой, но реальность там начинает трещать по швам.

По ночам болото Повитухина Лога дышит, в окна кто-то заглядывает, а местные женщины на сносях умирают одна за другой — с распоротыми животами и младенцами, аккуратно положенными рядом.

И кто-то шепчет из темноты: «Согрей меня...»

Убийца не оставляет следов. Только странные огни над трясинной и шепот старух: «Глафира, упырица проклятая...»

Людмила не верит в нечисть. Она врач, черт возьми. Но чем дольше она остается в этой деревне, тем отчетливее понимает: убийца — не человек. И эта тварь ищет не жертву, а... тепло.

И, кажется, уже нашла... к кому прийти в этот раз.

Содержание

Дисклеймер	5
От автора	7
Пролог	9
Глава 1	21
Глава 2	40
Глава 3	60
Глава 4	80
Глава 5	106
Конец ознакомительного фрагмента.	116

Таш Эниклис

Повитухин Лог

— Откуда, бабка, в Замшелом беда взялась?

— Беда не взялась, яе здесья завсегда полным-полно.

— А что ж раньше не голосили, не крестились?

— Раньше-то повитухи други были. Те, кто тепло в себе держать умели. А как ушли они — так и стужа по избам поползла. Сперва по углам, дале под лавки, а опосля — прямо в сердце. И кто ныне в Замшелом рожат — та не кричит, а слушат. Потому как в родах-то ноне не мука, а зов. Тонкий, жалостливый, аки у дитяти, что заблудилося в лесу и не знат, в каку сторону дом. Имя тому дитяти — тоска. А матери яво — земля. И нету у ей рук, чтоб объять.

Дисклеймер

Предупреждение для читателя. Данное художественное произведение содержит сцены и темы, которые могут быть тяжелы для восприятия некоторой аудиторией, включая: — Явные описания употребления алкоголя и табакокурения. — Сцены насилия, жестокости и убийств. — Обсуждение и описание самоубийства. — Тему детоубийств.

Книга предназначена для зрелой аудитории. Если пере-

численные темы могут нанести вам психологическую травму, рекомендую воздержаться от чтения.

Автор порицает все перечисленные упоминания и рекомендует придерживаться здорового образа жизни.

От автора

Читатель!

Забудь свое имя у порога. Здесь зовут по-другому.

Не ищи привычный сюжет. Не жди, что героиня будет храброй, а любовь — спасительной. Не ищи погонь и перестрелок.

Эта книга — про иное.

Она — про руки, которые приняли тысячи чужих детей, но так и не обняли своего. Про пустоту, которая живет под сердцем дольше, чем любая жизнь. Про холод, который не согреет ни одна печь, потому что он — внутри тебя.

Это не детектив. Убийцу здесь не найдут, а если и найдут — не обрадуются.

Это не хоррор в привычном смысле. Здесь не кричат, а молчат десятилетиями. Слушают, как дышит Повитухин Лог. Как скребется кто-то под половицей. Как плачет тот, кого забыли согреть.

Это — тихое падение в трясину памяти.

Это — попытка распутать узел, который завязала сама жизнь.

Это — материнство, которое не случилось, но уже не от-

пустит никогда.

Входи смело, если не боишься холода.

Или уж оставайся на пороге. Там теплее...

Пролог

*Мамка любит крепче всех!
Мамку тут всегда мы ждем!
Самый звонкий в мире смех
Лишь у мамки! Там, где дом...
Знаем, что она вернется.
Не забудет нас с тобою.
И любовью отзовется.
Справится с любой бедою.
Мамка наша во свету.
Не покинет нас она.
Мы подарим ей звезду,
Знала чтоб, как нам нужна.*

Лампа коптила. Фитиль был подрезан криво, и огонь метался, дергался, бросал на стены тени, которые шевелились и жили своей жизнью. Женщина давно перестала их замечать. Она смотрела в стол. В щербатую тарелку. В корку хлеба, которую Михаил отломил и бросил не доев. Он раскидал по столу крошки, будто курам насыпал.

За окном умирал вечер. Лето, духота, комары за сеткой бились, и где-то далеко, за огородами, дышало болото. Она слышала его всегда. Даже здесь, за столом, напротив мужа, который сидел, навалившись грудью на столешницу, и тяжело сопел перегаром, как загнанный бык.

— Чаво уставилася? — не поднимая головы, спросил он

глухим, пропитанным самогоном голосом, в котором всегда, даже в вопросе, уже крылся ответ. Крик. Или хуже.

— Ничего, Миша, — тихо ответила Зоя. — Я не устала. Просто...

— Не Миша, а Михал Петрович, — он все-таки поднял голову и посмотрел сквозь нее покрасневшими, мутными глазами, как на пустое место. — Али запомятовала, как мужа величать? Я тебе кто? Хозяин али так... тьфу?

— Хозяин, — покорно произнесла она.

Михаил удовлетворенно хмыкнул и снова уткнулся в тарелку. Щи он уже выхлебал и теперь ложкой скреб по дну, выживая разварившуюся картофелину. Пальцы его были грязные, с черной каймой под ногтями, и Зоя вдруг подумала: а ведь она целовала их когда-то. Давно, в другой жизни, когда он сватался. Пришел с подарками, а мать шептала: «Хорош жених, работяши, не чета нашим парням». Мать не знала, что работящий — это когда трезвый. А пьяный — это зверь. Но кто же спрашивал девуку?

— Хлеб черствы, — бросил муж, отодвигая краюху. — Пекла бы чаще. Али лень?

— Я пекла, Миша... Михал Петрович. Вчерась токмо. В печи, видать, пересох.

— Пересох, — передразнил он. — У тебя все пересохнет. И руки, и бабье хозяйство. Гляди, Зойка, я долго-то терпеть не буду. Ежели баба мужа не ублажат, какой с ее прок?

Она опустила голову ниже. Внутри под сердцем толкнул-

ся ребенок. Сильно, словно тоже слышал, точно заступался. Зоя незаметно положила руку на живот под столом и погладила круглый бок через голубое ситцевое платье.

«Тихо, малыньки, тихо... все хорошо».

— Сядь прямо, — вдруг рывкнул Михаил. — Чаво скрючилась? Али я тебя сожру?

Она выпрямилась и убрала руку на колени. Сидела, как на уроке в церковно-приходской школе, где учительница заставляла спину держать. Только там было страшно, а здесь... здесь хуже. Потому что там можно уйти домой. А здесь дом и был этим страхом.

Муж доел и тяжело поднялся, опираясь на стол. Тот жалобно скрипнул. Шатаясь, он побрел в горницу, по пути задев плечом косяк, выматерился сквозь зубы и скрылся за дверью.

Зоя слышала, как он грузно упал на кровать всем телом. Как заскрипели доски. Как через пару минут раздался булькающий, с присвистом храп.

Она не шевелилась. Сидела и смотрела на стол. На крошки, на жирные разводы от щей, на опрокинутую солонку, из которой просыпалась соль. Плохая примета, мать всегда говорила, соль рассыпать к ссоре. Но какая уж тут размолвка, когда он и человеком-то ее не считает? Она для него просто тряпка, о которую ноги вытирают.

Зоя медленно встала, стараясь не шуметь, хотя храп гремел на всю избу. И начала убирать со стола. Собрала крошки

в горсть и ссыпала в пустую миску. Грязные ложки отнесла в лохань с водой. Протерла столешницу тряпкой — водила кругами туда-сюда, и вдруг поняла, что по лицу бегут слезы.

Они просто текли сами — горячие и соленые, капали на грудь, на живот, на руки, которыми Зоя продолжала тереть уже чистое место. Но остановиться не могла. Как будто внутри прорвало плотину, которую она держала годами, зубами, молитвами... этим ребенком под сердцем.

— Господи, — взмолилась она одними губами. — Господи, да за что ж?

Но Господь не отвечал. Он всегда молчал. Может, его и не существовало вовсе, а были только бабкины сказки да иконы в красном углу.

Зоя домыла посуду, вытерла руки о подол и села на лавку. В избе стало совсем темно — лампу она погасила, керосин экономить надо. Только из окна, с болота, сочился бледный, зеленый свет. Огоньки плясали там, за стеклом, манили, дразнили, обещали что-то, чего у нее никогда не было и не будет.

Она положила руки на живот. Малыш толкнулся сразу — сильно, требовательно, словно спрашивал: «Мама, ты где? Ты чего молчишь?»

Зоя улыбнулась. Сквозь слезы, сквозь усталость, сквозь этот проклятый вечер. И погладила круглый, тугой бок.

— Ничего, малышки, — прошептала она тихо. — Ничего, родной. Потерпи уж. Вот народишься, вырастешь — и уйдем

мы отсюда. Далеко уйдем, за болото, за лес, в город, где огни горят желты, теплы.

Она посмотрела в окно.

— Не то что энти... мертвы. Я тебя никому не дам в обидушку. Слышь-ко?

Ребенок толкнулся снова — будто ответил.

— Ты у меня бушь самый видный. Самый разумный. Я тебя выучу всему, что сама ведаю. И буквицам, и молитвам, и как звезды на небе счислять. Ты у меня бушь счастливый. Неотменно бушь.

Она все говорила и говорила, шептала в темноту. Слова эти были как заговор, как оберег, как единственное, что у нее оставалось. Муж отнял все: молодость, радость, веру. Но это... это было только ее. Этот ребенок, комочек жизни под сердцем, который толкался и напоминал: ты есть. Ты живая. Ты кому-то нужна.

— Я тебя люблю, — сказала она напоследок. И сама удивилась этим словам. Потому что ее саму никто никогда не любил. Мать... ее саму-то не лелеяли. Отец тоже всегда пил и забывал о жене и детях. Муж... какой там муж. А она... оказывается, умела. Легко и крепко.

Зоя долго сидела так, в темноте, гладила живот и слушала, как внутри нее бьется маленькое сердечко. Потом усталость взяла свое. Она поднялась, прошла в маленькую каморку, где стояла узкая кровать и пахло сушеной мятой да старостью. Здесь она всегда спала, когда Михаил был зол.

Почти все время.

Она осторожно присела на кровать, снова положила руки на живот, закрыла глаза и слушала, как внутри нее бьется сердце.

Ночь никак не приносила желанной прохлады. Зоя лежала на спине, глядя в потолок, где тени от болотных огоньков плясали медленный, слегка подрагивающий танец. Комары вились над ухом тонким, нудным звоном, и отмахиваться уже не было сил. Она чувствовала давящую тяжесть в животе, в воздухе, во всем мире, который замер в ожидании.

Ребенок снова толкался. Сильно, настойчиво, будто хотел выбраться наружу прямо сейчас, сквозь жар и духоту этой проклятой ночи. Она положила ладонь на живот и почувствовала, как под кожей бьется маленькая жизнь. На мгновение ей стало легче.

Сейчас был он. И она. Они вдвоем в этой избе, где муж за стеной дышал пьяным храпом.

Тишину нарушали шорохи за окном. Болото дышало. Оно никогда не молчало. Оно чвакало, вздыхало, пускало пузыри, и в этих звуках было что-то древнее, голодное и... ждущее.

Но Зоя привыкла к этому за много лет, что жила в деревне мужа. Перестала съеживаться от странных ощущений, ко-

гда за окном ухала выпь, или в камышах кто-то плескался, а бледные, зеленые, мертвящие огоньки выползали из трясины и плясали до рассвета.

Однако сегодня она все же вздрогнула. Потому что огни вдруг замерли. Все до одного — ровным строем, как свечи в церкви, только болотные, гнилые, светящие не к добру.

Она осторожно села на кровати. Сердце сдавило грудную клетку, дышать стало нечем, хотя разум шептал: «Дурь все это. Духота одна. Кручина, знамо. Ты на сносях. У всех так бывает».

Зоя настороженно смотрела в окно. Там за мутным стеклом, за мошкаррой, бьющейся в слепой истерике, за кустами тальника, за черной гладью трясины... кто-то был.

Она не видела никого, но чувствовала тревогу. Так бывает, когда в пустом доме неожиданно понимают: они не одни. Когда в лесу за спиной замирают птицы. Так прислушиваются звери перед тем, как приходит огонь.

На ней был чей-то взгляд. Тяжелый, влажный, как прикосновение тины. Он шел оттуда, с болота, просачивался сквозь стекла, сквозь стены, сквозь кожу... и ложился прямо под сердце. Туда, где только что толкался малыш.

Ребенок вдруг замер. Впервые за вечер — ни движения, ни пинка, ни дрожи. Только тишина. Глубокая и... мертвая. Там, где только что кипела жизнь.

Она хотела закричать, позвать мужа, зажечь свет. Сбежать. Но тело не слушалось. Оно будто налилось болотной

тяжестью, приросло к простыне, и единственное, что Зоя сейчас смогла — это медленно повернуть голову.

Дверь в комнату была приоткрыта. В проеме, где должна была быть только тьма прихожей... что-то было.

Тень. Не человек, не зверь. Просто сумрак, но гуще, плотнее и чернее любой ночи. Она висела в воздухе и колыхалась, точно ее покачивало незримое течение. И от нее тянуло холодом. Могильным, глубоким, подземным холодом, от которого волосы на голове шевелились сами собой.

Она хотела зажмуриться. Но не могла. Веки не слушались, как и все тело.

Тень выплыла вперед. Зоя не видела ног, не заметила движений — темный сгусток просто стал ближе, вырос из проема и вполз в комнату.

— Не надоть, — прошептала она. Губы едва шевелились, голос тонул в тишине. — Не надоть, пожалуйста...

Странное очертание замерло. И вдруг она услышала тонкий, высокий звук, похожий то ли на писк комара, то ли на плач новорожденного. Только... не живой.

Звуки не прекращались. Они заползали в уши, просачивались под кожу, и чем дольше Зоя их слушала, тем отчетливее понимала: так не может всхлипывать чудовище. Так плачет тот, кто потерял все. Кто не знал ласки и объятий. Кто много лет бродил в темноте и не мог отыскать дорогу домой.

Она знала это чувство, потому что сама так плакала по ночам, уткнувшись в подушку, чтобы муж не слышал. Толь-

ко ее слез никто не жалел.

Зоя хотела вскочить, закричать, броситься вон из этой проклятой комнаты. Но тело не поддавалось. Мышцы обмякли, веки дрогнули и поползли вниз сами собой, будто кто-то невидимый надавил на них холодными пальцами.

«Не смей. Не смей очи закрывать! — кричала она внутри себя. — Подымайся, дура, бежи!»

Но тело не слышало ее. Оно опускалось на подушку медленно, послушно, как тонет брошенный в воду камень.

И неожиданно, сквозь пелену ужаса, она испытала что-то другое. Теплое, щемящее, знакомое. То самое чувство, что заставляло ее гладить живот и шептать нежные слова малышу, что еще не родился. Материнское. Глубокое. Древнее, как сама земля.

— Бедненький, — выдохнула Зоя одними губами. Сама не зная, кому это говорит. — Бедненький ты мой...

И в этот миг она перестала бояться.

— Ты... кто? — прошептала она. — Ты... ты что, плачешь?

Тень не ответила. Она приблизилась еще, и вот уже была у кровати, нависала, вызывала озноб. Но в этом холоде вовсе не таилось злобы. Только просьба. Мольба. Тоска.

Вдруг что-то коснулось Зоиною живота. Она дернулась — насколько позволяло обмякшее тело, — и рывком открыла веки, вглядываясь в потолок, в темноту, вникуда. Глаза резануло сухостью, но она заставила себя смотреть.

Только Зоя не увидела ничего, кроме тени, которая, ка-

залось, была сейчас везде — расплзлась по углам и залила собой комнату. А прямо у ее кровати тень сгустилась в одно темное пятно.

Она вдруг почувствовала легкое покалывание в том месте, где тугая кожа живота натянулась под платьем. А потом начал сочиться холод, заполняя каждую клетку ее тела. И она ощутила прикосновение. Холодное и осторожное, почти нежное. Как будто кто-то маленький и очень испуганный положил ладошку туда, где спал ее ребенок, и хотел почувствовать его тепло.

Малыш дернулся. Сильно, испуганно, будто его толкнули. Зоя хотела закричать: «Не трожь!» Но губы даже не шевельнулись. Она только мычала про себя и скулила. Секунда. Две. Пять.

И в этот миг внутри женщины что-то оборвалось. Боли не было. Просто щелчок. Тонкий, сухой, как ломается ветка. А после нахлынула пустота, которая возникает, когда из комнаты уходят близкие, когда из дома уезжают любимые, когда из жизни исчезает самое главное.

Ее малыш, долгожданный первенец, дернулся в утробе в последний раз и замер... уже навсегда.

Зоя поняла это, потому что ее сердце билось в такт с его крошечным сердечком. А теперь — пустота. Она ощутила это всем телом, каждой клеткой, каждой жилкой, которая еще минуту назад ритмично отзывалась. Под холодной ладошкой тени больше не было жизни.

Женщина попыталась закричать. Хотела отчаянно забиться, завывать, зацарапать эту тень, разорвать ее голыми руками. Но тело по-прежнему не слушалось. Только горькие, обжигающие слезы текли по щекам, по вискам, заливали уши и капали на подушку.

А тень вдруг всколыхнулась. Из самой глубины ее вырвался плач, но теперь он слышался громче, явственнее и... человечнее. В нем был ужас. Настоящий, живой ужас того, кто понял, что натворил.

— Проссти.... — прошелестело из темноты. — Проссти...

Тень отшатнулась и отползла. Она вжалась в угол, стала меньше, съежилась, будто хотела исчезнуть, провалиться сквозь землю и спрятаться от того, что сделала.

А Зоя просто лежала, не шевелясь, и смотрела в потолок. Она чувствовала, как холод поднимался от живота выше, к груди, к горлу, заливал легкие и... останавливал сердце.

Последнее, что она увидела — как прямо над ней вспыхнул одинокий белый огонек. Он медленно поднялся к самому потолку, дрожал мгновение и погас.

Утром Зою нашли на кровати. Глаза были открыты, лицо спокойным, а на белой рубашке, в районе живота, угадывался бледный отпечаток маленькой ладошки. Испуганный муж

отчаянно тряс ее, звал, бил по щекам, но все было бесполезно. На его безумные крики прибежали соседи, заохали и закрестились.

Фельдшер лишь развел руками: «Сердце. На сносях не дозволено ж так маяться-то». А потом послушал живот и понял: ребенок тоже мертв.

Никто тогда не знал, почему так случилось. Никто не видел существо, которое сидело на краю болота, обхватив голову тонкими руками, и беззвучно плакало черными слезами, глядя на дом, где погасли две жизни.

Только болото знало, дышало в такт этим рыданиям и ждало... следующую ночь. Следующую жертву. А может, ту, что сумеет не просто спасти, а понять.

Глава 1

«Всяка повитуха со своей судьбиной спознатся должная. Придет час — и сустреть яе на родовом пороге. А то не судьба, а так, мимо прошла. Иному роженицу принимать, а иному — себя на свет Божий являть. Такое уж дело бабье: кого на руки приняла, того и за душу ответ держишь. Судьба-то она не спрашивает — сама приходит, когда черед приспел. А ты уж спорить не моги».

— Народная поговорка Замшелого.

Город еще спал. Дремали старые купеческие дома с резными наличниками. Тополя вдоль центральной улицы сонно шелестели листвой. Собаки на цепях в частных подворьях мирно лежали в будках. И только птицы уже начали свою вечную перекличку.

Лишь центральный родильный дом города Стародуб не спал никогда. Он даже стоял на окраине у самого выезда на тракт. Трехэтажный, серый, с облупившейся краской и открытыми окнами летом, из которых даже в тихий предрасветный час доносились звуки, не слышные больше нигде в городе: то ли плач, то ли крик, то ли первый вздох новой жизни.

Стародуб был невелик. Тысяч на сорок жителей, от силы пятьдесят. Своя автобусная станция, две школы, техникум

лесного хозяйства да хлебозавод, чей сытный и уютный запах по утрам разносился на весь центр.

Главная улица носила имя Ленина, как и положено. Но старожилы все еще называли ее по-старому — Торговой. Потому что сто лет назад здесь и правда шумела ярмарка, и купцы из окрестных деревень везли мед, сало, лен и прочий нехитрый товар.

Теперь же здесь располагались ларьки с китайским ширпотребом, рынок, где бабки торговали зеленью и домашней медовухой, и вокзал, откуда дважды в день уходил поезд до областного центра. И центральный роддом.

О нем в городе говорили по-разному. Кто с благодарностью, кто со страхом, а кто и с усмешкой: мол, сколько баб через него прошло, а он все стоит да не рушится. Поговаривали, что в подвале старые аппараты лежат, еще с советских времен, и что по ночам там вой раздается — то ли мыши так скребутся, то ли еще кто. Врали, конечно.

Людмила Сергеевна Корсакова работала здесь уже сорок лет и знала каждый угол, каждую трещину на стене, каждый скрип половицы. Никаких мышей. Только жизнь. И смерть. Иногда — совсем рядом.

В то утро, когда город еще спал, а солнце только начинало золотить верхушки тополей, Людмила уже была на месте. Она всегда приходила первой. Привычка, выработанная десятилетиями, ввевшаяся в кровь сильнее, чем память о собственной молодости.

Родильный дом встречал ее всегда одинаково. Запахом хлорки, медикаментов и пота. И еще — тем особенным, ни с чем не сравнимым, который появляется только здесь: запахом начала. Первого вдоха. Первого крика. Первой встречи двух людей, которые девять месяцев были одним целым, а теперь наконец встретились.

Новый дежурный реаниматолог, заспанный молодой Алексей Михайлович, встретил ее в вестибюле:

— Людмила Сергеевна, вы чего так рано? Смена ж ваша через три часа.

— Привыкла, сынок, — ответила она, улыбаясь. — Лучше раньше, чем потом догонять.

Она вошла в ординаторскую, бросила сумку на стул, включила чайник, села на скрипучий стул и посмотрела в окно.

Город просыпался медленно, нехотя, как человек, который знает, что впереди длинный и ничем не примечательный день. По улице уже прошлепала первая старуха с авоськой, проехал грузовик с хлебом и залаяла собака где-то за забором.

Людмила мельком глянула на себя в треснутое на краю зеркало у вешалки. Седая, уставшая, под глазами мешки — хоть выжимай. А ведь ей только шестьдесят три. По нынешним меркам — бабушка-то еще молодая. Но сорок лет приема родов не проходят бесследно. Они остаются в спине, которая ноет теперь к непогоде. В руках, что сводит по ночам.

И в глазах, что видели столько жизни и смерти, что давно должны были бы выплакать все слезы.

Но они, как оказалось, не заканчиваются никогда. Просто прячутся глубже.

— Людмила Сергеевна, там в родовой из двадцатой палаты! — влетела в ординаторскую молоденькая медсестра Кристина, вся красная и запыхавшаяся. — С одиннадцати схватки! Воды отошли в два! Она кричит уже час, раскрытие почти четыре пальца, а тужится не туда. Мы ей объясняем, объясняем, а она...

— Стоп, — Людмила подняла руку, и медсестра замолчала на полуслове. — Дыши. Кто дежурный врач? Махров? Что он-то ждет?

— Нет! Махров с Игутовым поменялся. А Иван Петрович сказал, если через полчаса не пойдет — будем кесарить.

— Резать всегда успеем, — она уже на ходу натягивала халат и застегивала пуговицы привычными движениями. — А Ирина, что же?

— Да сегодня конвейер какой-то! — воскликнула Кристина. — Всю ночь то с патологии, то по скорой! Десятая уже! Ирине дурно стало, Игутов сам принимает, но...

— Пойдем, подменим тогда.

Родильный зал был маленьким и душным, пропахшим страхом и потом. На кресле, сжавшись в комок, лежала девочка. Совсем ребенок — лет семнадцать, от силы восемнадцать. Белая, как простыня, мокрая от пота и с растрепанны-

ми волосами. Она смотрела глазами, полными такого ужаса, будто она не рожать сюда пришла, а на эшафот.

— Не могу, — шептала она. — Не могу больше, мамочки, не могу...

Рядом стоял акушер-гинеколог. Он пытался объяснить, что надо тужиться правильно, когда схватка идет. Надо дышать, но девчонка, заливаясь потом и слезами, отчаянно махала головой.

— Иван Петрович, давай я. Иди передохни пока.

Тот, весь мокрый, кивнул и, стянув маску с лица, облегченно выдохнул.

— Спасибо, Людмила Сергеевна. Смена сегодня...

Людмила надела перчатки и подошла к девчонке ближе. Не как врач, как женщина. И взяла за руку.

— Как тебя зовут, милая?

— А... Алена, — выдохнула та.

— Аленушка, слушай меня. Хорошо?

Та испуганно закивала.

— Ты не одна. Я здесь. И никуда не уйду. Ты справишься. Твой малыш уже идет, он тебя ждет. Ему страшно не меньше, чем тебе. Он там, в темноте, и только ты можешь помочь ему выйти на свет. Слышишь? Только ты. И я. Мы вместе.

Схватка накатила снова. Алена закричала, выгнулась и вцепилась в руку Людмилы так, что ногти оставили красные полумесяцы на коже.

— За поручни держись, — спокойно сказала Людмила. —

Смотри на меня. Дыши со мной. Вдох. Выдох. Еще. Хорошо, милая, хорошо. Ты умница. Ты все делаешь правильно.

Алена смотрела на нее — и постепенно ужас в глазах сменялся доверием. Верой, что сильнее любой анестезии.

— Еще одна, — сказала акушерка, чувствуя пальцами, как напрягается живот. — Пошла. Давай, родная, тужься. Сильно, изо всех сил. Ради него. Ради себя. Давай!

Девушка напряженно и протяжно закричала. И вдруг — тоненький, пронзительный, самый прекрасный звук на свете. Первый крик новорожденного.

Людмила приняла мальчика ловкими, бережными движениями, пережала пуповину и положила ребенка на грудь матери. Алена смотрела на него, не веря, а слезы все текли по щекам — счастливые, легкие, совсем не похожие на те, что были еще двадцать минут назад.

Кристина тем временем уже сбегала за неонатологом, Оксаной Юрьевной.

— Мальчик, — прошептала роженица. — Сыночек... Никита...

Малыша немного обтерли и перерезали пуповину. Оксана Юрьевна осмотрела его, оценив состояние, и сделала необходимые замеры. А потом на ручку прикрепили бирку со всеми данными.

— Богатырь, милая. Девять из десяти по Апгар, — тепло улыбнулась акушерка. — Здоровенький. Весь в тебя.

Алена поймала ее руку и прижалась мокрой щекой.

— Спасибо. Я никогда... никогда не забуду.

— Ты его расти теперь, — сказала Людмила тихо. — Это и будет твое спасибо.

— Я одна совсем. Муж... в командировке. А вы для меня как мама сегодня. Моя давно уж...

— Ничего. Все теперь хорошо, — улыбнулась она, и в груди кольнуло. У нее тоже сейчас никого не было. Только сестра, но она не виделась с ней уже двадцать лет. Даже не слышала ее голоса.

Она вышла в коридор и прикрыла дверь. Прислонилась спиной к холодной стене и закрыла глаза.

В груди было пусто. Не усталость — к ней она давно привыкла. Что-то другое. Пустота, которая никогда не заполнялась чужими детьми. Та, что сидела внутри, как застарелое горе, как невыплаканные слезы о том, чего у нее никогда не было и уже не будет. Тогда она лишилась не только дочери, но и самой возможности держать на руках своего ребенка.

«Я могла бы быть настоящей бабушкой, — подумала вдруг Людмила с тоской. — У этой девчонки теперь сын есть. А у меня...»

Она не позволила себе додумать. Открыла глаза, выпрямилась и пошла в ординаторскую.

Там уже накрыли чай. Молодые медсестры возбужденно переговаривались, а Иван Петрович заканчивал заполнять карту.

— Людмила Сергеевна, ну вы волшебница! — всплеснула

руками старшая сестра. — Мы уж думали — точно кесарево, а вы зашли — и через пятнадцать минут родила!

— Да, спасибо, что передохнуть дали, — благодарно улыбнулся Игутов.

— Она бы и сама родила, — отмахнулась Людмила, наливая себе чай. — Просто испугалась. Первые роды, молоденькая совсем. Тут не резать надо, а руку поддержать. Ласковое слово и кошке приятно.

Рабочая смена подошла к концу. За это время Людмила приняла еще четверых рожениц и вернулась в ординаторскую после очередных удачных родов. Она сделала себе чай и села за стол.

Санитарка Кузьминична, пришедшая на смену, посмотрела на нее поверх очков.

— Людмила Сергеевна, вы бы отдохнули. Вы же сутки на ногах.

— Отдохну, — она отхлебнула горячий, слишком сладкий чай. — Сейчас допью и пойду.

Но не уходила. Сидела, смотрела в окно на утренний городской пейзаж, на людей, спешащих по своим делам, и думала о том, как странно устроена жизнь. Она приняла за эти годы столько детей, что могла бы составить из них целую деревню. Да не одну. А своих — ни одного.

В кабинет вошла молоденькая девушка, проходившая у них практику. Села рядом и заглянула в глаза.

— Людмила Сергеевна, а как вы это делаете? Ну, вот так... спокойно? Я бы не смогла. Когда на родах стою, у самой сердце выпрыгивает.

Людмила посмотрела на нее — чистые глаза, румянец, никакой еще усталости. Когда-то она сама была такой. Тоже думала, что всех спасет, всех вытянет. Что любовью и теплом можно заменить все плохое.

— Привыкла, дочка. Сорок лет — не шутка.

Практикантка вздохнула, кивнула и убежала по вызову.

Людмила осталась одна. Подошла к маленькому железному шкафчику с ее фамилией на скотче и достала телефон. Экран тускло светился. Пальцы замерли над кнопками — не могла ни набрать номер, ни убрать телефон. Потому что уже двадцать лет не звонила сестре. И Вера ей — тоже.

В груди уже привычно заныло. Она присела на край стула и сжала телефон в ладони. Тот нагревался, становясь почти живым. Представила: сейчас позвонит, в трубке пойдут гудки, и Вера ответит своим спокойным, чуть хрипловатым голосом, каким говорят после долгого сна. Удивленно скажет: «Люська?» — и замолчит. А она не будет знать, что говорить. Просто прости? Или сразу правду, что она виновата?

Она уже хотела убрать телефон обратно, но пальцы сами набрали номер. Людмила замерла, прижала трубку к уху и услышала ровный голос робота:

— Абонент недоступен.

Она сбросила вызов и посмотрела на экран так, словно тот был виноват. Набрала снова — и все тот же бездушный ответ. Убрала телефон в карман халата и откинулась на спинку стула, глядя в потолок.

Вспомнилось уже не впервые, но каждый раз больно бил как первый. Федор, Верин муж, попал под трактор соседа на лесоповале. Сказали — мгновенно. Людмила тогда работала в роддоме вторую неделю без выходных, и главный врач только руками развел: «Кого я вместо вас поставлю, Людмила Сергеевна? У нас самих ни рук, ни ног». А она и не просилась особо. Ей не хотелось ехать в Замшелое, смотреть, как Вера будет плакать и рвать на себе волосы. Не было ни малейшего желания стать носовым платком, которым вытирают чужое горе.

А через неделю Вера позвонила сама. Голос казался таким чужим.

— Люда. Почто ты не приехала? Я ж ждала...

— Не отпустили. Работа.

— Работа, — вздохнула сестра сквозь слезы так, что Людмила стиснула зубы. — Федора схоронили. А я одна была. Одна, Люсь. Я ж тебя кликала. Ребята сами в горюшке повязли. Колька тож один, Настя с малыши. Куды ей? А Полинка все плачет. Она ж отца крепче меня любила.

— Я не могла. Ты что, не понимаешь? — раздраженно выпалила она.

— Понимаю, — тихо сказала Вера. И вдруг закричала, зашлась таким отчаянным обвинением, отчего у Людмилы похолодели пальцы, сжимавшие трубку. — Бессердечна ты! Кака ж ты сестра, ежели даж в тако время страшно не являся?! Я бы для тебя все бросила! А ты... ты...

Людмила взорвалась. Слова вылетали сами, колючие, злые, каких она себе не позволяла никогда. Про то, что Вера всегда ныла, про то, что ее горе не единственное на свете, про то, что если она такая чувствительная, то пусть ищет себе другую сестру, а она устала быть для нее жилеткой. Что когда ей плохо, она не бежит ни к кому жаловаться.

И бросила трубку. Твердо решила — больше никакого общения. Раз она такая плохая — и не надо.

Прошло время. Она, конечно, остыла. И поняла, что Вера была права. Она и правда никудышная. Бросила сестру в самую страшную минуту, испугалась чужой боли, спряталась за работой, как за стеной. А потом стало стыдно так, что язык не поворачивался попросить прощения. И Вера молчала — не звонила, не писала и не напоминала о себе. Целых двадцать лет.

Людмила вынула из кармана телефон и посмотрела на экран. Снова набрала номер. И опять в трубке лишь равнодушный голос автоответчика.

Она вдруг до боли в груди поняла: Вера там, в Замшелом, одна. Ей уже под семьдесят. Время стремительно идет вперед, а они так и не помирились.

— Господи, — прошептала Людмила одними губами. — Господи, дура-то какая...

Спрятав телефон обратно, она подошла к окну. Солнце уже светило вовсю. По улице тянулись люди — кто на работу, кто в магазин, кто просто так, по привычке, потому что надо куда-то идти, когда тебе за шестьдесят и дома сидеть не вмоготу. Людмила проводила их взглядом и вдруг поймала себя на мысли, что завидует. Их жизнь была простой и понятной. Магазин, скамейка, телевизор вечером. А у нее — только этот роддом, эти стены и чужие дети, которых она принимала в этот мир, чтобы они жили своей простой жизнью, а она оставалась здесь и ждала следующих.

Она допила чай залпом, обжигаясь, сполоснула кружку и вышла в коридор, направляясь к главному врачу.

Он сидел у себя за массивным дубовым столом, что помнил еще тех, кто заведовал роддомом в семидесятые. Стол был старый, весь исцарапанный, с чернильными пятнами, которых уже никто не видел, но они остались как напоминание о том, что все когда-то было иначе.

Анатолий Борисович и сам был похож на него — сухой, морщинистый, с такими же темными пятнами на лысеющей голове. Они работали вместе почти тридцать лет. С тех пор как он пришел сюда молодым ординатором, а она уже была Людмилой Сергеевной, акушеркой с двенадцатилетним стажем. Теперь он был главным, а она — все той же Людмилой Сергеевной. И это устраивало обоих.

— Можно? — спросила Людмила, постучав легонько по открытой двери.

— Заходите, заходите, — сказал он, не поднимая головы от бумаг. — Я сейчас, минутку.

Она присела на стул напротив и положила руки на колени, как примерная ученица. В кабинете пахло старыми папками, лекарствами и его одеколоном, «Шипром», который он покупал еще в девяностые и, кажется, собирался пользоваться до конца жизни.

— Ну, — он наконец поднял глаза, отложив ручку. — Людмила Сергеевна, вы еще здесь? Вам бы домой, вы ж сутки на ногах.

— Иду уже, Анатолий Борисович, — сказала она и положила на стол заявление.

Он взял его, поправил огромные старомодные очки с толстыми стеклами и принялся читать. Людмила смотрела, как его глаза двигаются по строчкам, и почему-то задержала дыхание. Глупо, конечно. Отпуск — это ее право. Но за сорок лет она брала всегда лишь две недели, с чувством вины и мыслью: «А вдруг без меня не справятся?»

— Месяц? Сейчас? — удивленно спросил Анатолий Борисович, сдвигая очки на лоб. — Людмила Сергеевна, у нас же сентябрь. Наплыв обычно. Рожениц много, молодежь неопытная... Вы же знаете.

— Знаю. Но у меня накопилось. За все время. Не гуляла полностью-то никогда. И пять лет уже совсем без отпуска.

Он посмотрел на нее очень внимательно, словно хотел понять, что на самом деле происходит, но боялся спросить прямо.

— Случилось что? Может, помочь чем?

— Ничего не случилось, Анатолий Борисович, — соврала Людмила и криво улыбнулась. — Устала. Просто устала.

И в этом «просто» было столько всего, что он отодвинул ручку еще дальше и откинулся на спинку кресла.

— Людмила Сергеевна, — сказал он тихо. — Вы у нас сорок лет. Сорок, мать вашу. Я еще под стол пешком ходил, когда вы уже роды принимали. И ни разу — ни разу! — вы не брали больше двух недель. А тут месяц. Вы меня извините, но я не куплюсь на «устала». У нас тут все устают. Но вы — вы же как эта... как стена. Вы никогда не устаете. А теперь...

Он замолчал, а Людмила пошутила про возраст. Но главный врач на шутку не купился и продолжал пристально ее разглядывать.

Она вздохнула и посмотрела в окно. Тополя шумели, и листья их были уже чуть тронуты желтизной — сентябрь все-таки, осень, время перемен. Она вдруг подумала, что ни разу в жизни не видела, как умирают тополя. Они просто каждый год теряли листья и стояли голые, а потом снова покрывались зеленью. А она все это время была здесь, внутри этих стен, и видела только роды. Тысячи родов. Несколько тысяч. А своих...

— Ничего не случилось, Анатолий Борисович, — повто-

рила она еле слышно. — Просто... устала я, понимаете? Я иногда... забываю, как домой войти. Стою у двери и не помню, где ключи. Не вывожу я. Не дай бог...

Он помолчал еще, а потом вздохнул, взял ручку и размашисто написал на заявлении: «Согласовано».

— Ну, раз так, отдых — дело святое, — сказал он, протягивая ей заявление. — Месяц так месяц. Только вы возвращайтесь, Людмила Сергеевна. Мы без вас тут... как без рук. Молодежь, она, конечно, старается, но вы же знаете. Им бы все по учебнику, а жизнь — она сама по себе.

— Вернусь, — сказала Людмила, беря бумагу. И сама не поняла, соврала или нет.

Она уже встала и подошла к двери, когда вспомнила.

— Анатолий Борисович, у Семеновой из тринадцатой полезавтра плановое кесарево. Я все проверила в карте. Ольга Викторовна смотрела ее сегодня. Хорошо все. Она как раз на смене будет. Варя поприсутствовать хотела, да боится. Практика все же. Пусть не волнуется, все штатно должно пройти.

— Людмила Сергеевна, — он махнул рукой. — Вы о работе не думайте. Отдыхайте.

— Не думать о работе — это я совсем не умею, — усмехнулась она. — Привычка. За столько лет.

И вышла. В коридоре было пусто. Только лампы дневного света гудели устало. Людмила прижала заявление к груди и направилась к выходу.



Дома было тихо. Маленькая квартирка, которую она получила еще в восемьдесят седьмом, встречала запахом пыли и одиночества. Людмила закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и постояла так минуту, слушая, как в соседней квартире играет телевизор, как на лестничной площадке возится чья-то кошка, как где-то далеко, на вокзале, гудит тепловоз. Обычные звуки обычного вечера в обычном городе, где она прожила почти всю свою осознанную жизнь.

Она прошла на кухню, к столу, покрытому старой клеенкой в цветочек. Заглянула в холодильник, облепленный подаренными магнитами из городов, где она никогда не была и достала оттуда молоко. Обедая, взглянула на этажерку с книгами. Там, между поваренной книгой и сборником рецептов из «Работницы», торчал краешек фотографии. Людмила вытащила ее и поднесла ближе к глазам.

Время вдруг сдвинулось.

Вот она, Вера. Молодая, круглолицая, с румянцем во всю щеку, стояла на крыльце той самой избы в Замшелом, куда вышла замуж сорок пять лет назад. В руках у нее сверток — сморщенный красный комочек, завернутый в белый «выписной конверт», перевязанный голубой ленточкой, из которого торчал только малюсенький носик. Колька, первенец. А рядом сама Людмила, тогда еще просто Люда, двадцати лет от

роду. В смешной косынке в горошек. Вся какая-то нескладная, длинная, худая, но улыбающаяся до ушей. Они были так счастливы.

Она помнила эти роды. Сквозь сорок три года, сквозь тысячи других, сквозь усталость и бессонные ночи — помнила так отчетливо, будто это было вчера.

Вера рожала тяжело. Двое суток. Фельдшер в Замшелом был мужик пьющий и в акушерстве понимающий примерно столько же, сколько Люда в тракторном деле. Он разводил руками, крестился и предлагал везти Веру в район. Только как, когда дороги размыло, а до Мглинского шестьдесят километров да через лес?

И Людмила, вчерашняя студентка, только окончившая училище и приехавшая к сестре отдохнуть перед началом трудовой деятельности, вдруг поняла: никто, кроме нее. Она уже принимала роды сама, но все равно страшно боялась. Вновь и вновь перечитывала учебники ночью при керосиновой лампе. Перелистывала страницы дрожащими пальцами, шептала вслух названия препаратов, которых в деревне все равно не было. Молилась всем богам, в которых и не верила вовсе. А когда Колька наконец пронзительно закричал на всю избу — заплакала вместе с ним, осторожно держа племянника.

Вера тогда схватила ее за мокрую, скользкую от крови руку и прошептала:

— Люська... ты моя сестра. Спасительница моя. Ты теперь

ему вторая мать.

А Людмила, все еще всхлипывая, ответила:

— Я лучше тетей буду. Тетя Люда. Звучит солиднее.

Они долго смеялись потом до слез. Фельдшер заглянул в комнату и перекрестился, решив, что у баб истерика от переутомления.

Людмила провела пальцем по фотографии, по лицу Веры, по своему смешному носу в веснушках и по Колькиному сморщенному лобику.

Он давно вырос. Уехал в город, женился, родилось двое детей. И она принимала роды у его жены — мальчика, а потом и еще одного. Держала на руках внуков сестры и думала: круг замкнулся. И разомкнулся. Потому что свои — это родные. И все же... чужие.

А потом несчастье с Федей разделило их на целых два десятилетия. Николай страшно обиделся на нее после похорон. Да и остальные племянники тоже. Одним решением она перечеркнула все, выбирая одиночество добровольно. Чтобы скрыть свою боль. Чтобы не делиться. И чужой не захотела принять.

Вздыхнув, она убрала фотографию обратно в книгу и задвинула на этажерку. Взяла телефон и снова набрала номер сестры. Бесполезно. И тогда ее накрыла паника. Прошло столько лет, а вдруг... Ей же могли даже не сообщить. Она подошла к окну и твердо решила: поедет в Замшелое сама. Хоть силой, хоть через стыд, но непременно должна поехать!

Попросит прощение. И будь что будет.

Она погасила свет на кухне и пошла в комнату собираться. Сумка уже стояла наготове — старая, потертая, еще с советских времен. В ней лежали резиновые сапоги, теплый свитер, пара книг и стетоскоп с тонометром. На всякий случай.

Людмила посмотрела на него, усмехнулась, но убирать не стала. Привычка — вторая натура. А может, и первая.

Она легла в постель и уставилась в потолок. За окном шумели тополя, и где-то далеко, за городом, за полями и лесами, за реками и болотами, начиналась другая жизнь.

— Завтра, — сказала она себе. — Все завтра.

И закрыла глаза. Перед тем как провалиться в сон, она вдруг подумала: «Я так и не испытала это чувство. Только видела у других. У Веры — это почти как свои собственные. Почти. Главное, чтобы она меня дождалась».

Людмила глубоко вздохнула, повернулась на бок и уснула. Она не знала, что ждет ее впереди. Не знала, кто ждал ее слишком много лет. Но что-то внутри уже тихо отозвалось. Как первый толчок новой жизни. Как предчувствие.

А за окном, далеко-далеко в Замшелом, болото тяжело дышало. И в самой глубине, где не светят даже болотные огни, кто-то страшно одинокий поднял голову и прислушался. Она едет. Наконец-то.

Глава 2

«Дорога, что снится, — самая верная. Она приведет туда, где ты нужней всего. Даже если ты ишио не знаешь, кому».

— Из дневника Глафиры Винкиной.

Поезд шел сквозь ночь, как слепой — на ощупь, наугад, только стук колес вместо палки. Людмила сидела у окна в плацкартном вагоне, прижималась виском к холодному стеклу и смотрела, как за черной гладью проносятся редкие огни — то ли деревни, то ли просто чьи-то одинокие окна.

Чай в подстаканнике остыл, но она все держала его в ладонях, чувствуя, как последнее тепло уходит в пальцы. Поезд качало мерно, убаюкивающе, но спать не хотелось. Мысли цеплялись друг за друга, как петли на старом свитере, и распускали все, что она так старательно прятала от самой себя.

«Двадцать лет, — стучало в такт колесам. — Двадцать лет тишины». Она сжимала в кармане телефон, с которого снова пыталась дозвониться до сестры утром. Но в ответ слышала только: «Абонент недоступен».

Вспомнился голос Веры двадцатилетней давности. Не крик, а тишина после слов: «Я бы для тебя все бросила. А ты...».

Людмила закрыла глаза. Работа. Смены. Дежурства. Она

заваливала себя чужими родами, чтобы не слышать этот голос. Чтобы не думать о том, что у нее самой никогда не будет детей. Чтобы не чувствовать эту пустоту внутри, которую не заполнить никаким количеством спасенных жизней.

Но теперь работы не было. Только стук колес и страх. А вдруг она едет на похороны? Вдруг Вера там, в Замшелом, уже не ждет ее? Вдруг она опоздала?

«Господи, только бы успеть сказать “прости”».

Напротив, через столик, сидел мужчина. Он появился то ли на прошлой остановке, то ли просто материализовался из серого полумрака вагона — Людмила не заметила, когда именно.

Невзрачный, в выцветшей рубашке, расстегнутой у ворота, с худыми ключицами, которые шевелились под кожей, когда он глотал слюну. Котомка на коленях — холщовая, старая, с пятнами, похожими на плесень. Сам он сидел неподвижно, сцепив руки в узлах вен, и рассматривал что-то в окне, хотя там ничего не было, кроме черноты и собственного отражения.

Людмила отворачивалась, смотрела в свое окно, пила чай, но затылком, кожей, всем нутром чувствовала его взгляд. Тяжелый и липкий. Она резко обернулась.

Мужчина глядел в окно. Профиль его был острый, как у высушенной рыбы, и такой же безжизненный. Губы шевелились беззвучно — то ли молитву шептал, то ли перебирал слова, которые не решался сказать.

Она хотела было спросить: «Это вы мне? Вы что-то хотели?» Но язык прилип к небу. Вместо этого она снова уставилась в стекло и вдруг заметила, что отражения ее и мужчины не совпадают.

Ее лицо было, а его — нет. Она зажмурилась. Открыла глаза. Мужчина сидел на месте, и образ его отражался — обычный, мутный, как у всех.

«Показалось, — подумала она. — Беспокойство. Дорога. Бессонная ночь».

Поезд качнуло сильнее. Где-то в тамбуре лязгнуло железом, и чай в стакане плеснулся через край на столик. Людмила машинально потянулась за тряпкой, но мужчина вдруг подался вперед и еле слышно заговорил.

— К сестре едешь? В Замшелое?

Она вздрогнула так, что стакан подпрыгнул на блюдце. Чай разлился еще сильнее и потек по столику, капая на пол, на ее колени, но она не замечала.

— Откуда вы... — голос сел. Она откашлялась. — Откуда вы знаете?

Мужчина уже не смотрел на нее. Он уставился в окно, на черноту, и тихо, монотонно говорил.

— Лицо у тебя такое. Как у тех, кто едет туда, откуда не возвращаются.

Он замолчал. Людмила впиалась в него взглядом и чувствовала, как холод поднимается откуда-то из живота, где она столько лет ощущала пустоту. Он скользил выше, к гру-

ди, к горлу и сжимал его ледяной рукой.

— Что вы несете? — слишком резко бросила она. — Что значит «не возвращаются»? Там сестра моя живет, деревня обычная...

Она осеклась. А вдруг уже не живет? Мужчина медленно повернул голову и посмотрел на нее. Глаза у него были мутные, с желтизной, как у очень старого человека, который уже почти ничего не видит. Или как у того, кто видит что-то другое.

— Обычная, — печально хмыкнул он. — А ты сама-то в это веришь?

Он встал. Котомку подхватил одним движением, словно она ничего не весила, хотя было видно, что там лежит что-то тяжелое, угловатое. Ботинки его выглядели старыми — кирзовые, облепленные грязью. Но не обычной, придорожной, бурой, — а какой-то черной, жирной, с вкраплениями гнилой травы. И от нее неприятно пахло.

Людмила только сейчас поняла, что разило все время. С того момента, как она села в вагон, хотя мужчины еще здесь не было. Тянуло сыростью, тиной, тем особым запахом, который бывает у стоячей воды, где уже ничего не живет, потому что все сгнило. Она думала, это от туалета, от самого старого вагона. А на самом деле источником являлся он.

— Постойте! — крикнула она, вскакивая. — Кто вы? Откуда вы знаете про сестру?

Но мужчина уже плелся по проходу, не оглядываясь, шар-

кающей, старческой походкой. Прошел мимо проводницы, которая дремала на откидном сиденье, мимо туалета с железной табличкой, мимо украдкой курящих в тамбуре парней, которые даже не взглянули на него, будто того не существовало. И исчез.

Поезд лязгнул, дернулся и начал тормозить. За окном вдалеке поплыли редкие огни станции — наконец-то показалось нужное ей место.

Людмила стояла в проходе, сжимая в руке стакан с остывшим чаем, и смотрела на пустое сиденье. Там, где только что сидел странный старик, осталась лужица чистой воды, в которой плавал маленький сухой ивовый листик. И запахло тиной так, что запершило в горле.

Она посмотрела на лужицу, и по спине пробежал столп мурашек.

«Галлюцинация? Возможно. Усталость, нервное перенапряжение. Мало ли что может показаться? И про Веру я могла невзначай вслух что-то сказать».

Она потрогала воду пальцем — ледяная.

«Просто совпадение. Старик вышел, а я задумалась и не заметила. А вода... ну, могла пролиться из его бутылки».

Она не поверила в это, но заставила себя так думать.

Поезд остановился. Она схватила свою сумку и почти выбежала в тамбур. На перроне уже было довольно шумно, хоть и рано еще. Фонарь качался на ветру, и тени от него метались, как живые. Она огляделась — никого, похожего на того

старика. Прошлась вдоль состава, заглядывая в окна. Проводницы уже закрывали двери. Поезд стоял всего пять минут.

— Женщина, вы выходите или едете дальше? — окликнула ее проводница из тамбура.

— Выхожу, выхожу, — ответила Людмила и сделала шаг от вагона.

Состав тронулся, лязгнул, вздохнул тяжело и пополз дальше. А она смотрела ему вслед, и вдруг в окне последнего вагона, в мутном стекле, увидела лицо. Острое, иссушенное, которое смотрело прямо на нее. Оно проплыло мимо и растаяло.

Станция называлась гордо — Мглин-1, — но гордость эта была выцветшая, как сама надпись на облупленной табличке, где буква «г» наполовину облетела вместе с краской. Деревянное здание вокзала, когда-то зеленое, а теперь серое от времени и дождей, стояло, приткнувшись к путям, как старая собака, которая уже не встает, но все еще сторожит пустой двор.

Людмила прошла по перрону и вдохнула. Воздух здесь был другой. Не городской, не тот, к которому она привыкла за сорок лет в Стародубе, — сырой, с привкусом торфа и еще чего-то, отчего слегка кружилась голова. Или это от бессон-

ной ночи и накрывающей ее паники?

Солнце уже поднялось, но светило как-то неохотно, сквозь белесую пелену. Тени от скамеек и столбов лежали бледные, размытые, будто не решались стать настоящими.

На перроне было по-утреннемулюдно. Женщины с ведрами, полными зелени — укроп, петрушка, перья лука торчали во все стороны, как зеленые пальцы, тянущиеся к свету. Мужик с мешком картошки, из дырявой мешковины которой сыпалась земля — мелкая, черная, жирная, не то, что песок в городе. Парень в телогрейке, с гитарой без трех струн, сидел на скамейке и курил, глядя в никуда.

Людмила присела на свободную лавочку, поставила сумку между ног и закрыла глаза. Всего на минуту. Просто чтобы перевести дух. Перед ней все еще стояло лицо старика из поезда и лужица воды на сиденье с ивовым листом.

— Семечки брать будешь, голуба?

Она распахнула веки. Перед ней стояла бабка — невысокая, сгорбленная, в черном платке, завязанном так туго, что концы торчали в стороны, как уши у испуганного зверька. Лицо ее покрывали глубокие морщины, похожие на трещины у старой иконы. Глаза смотрели цепко, по-птичьи, и в них плескалось что-то такое, от чего Людмиле стало не по себе.

— Не надо, спасибо, — ответила она машинально.

— Бери, бери, — бабка сунула ей в руки кулек из газеты, теплый еще и пахнувший подсолнечным маслом. — Без денег. Для знакомству.

— Я не...

— Ты, подруга, чай, не из наших? — перебила старуха, присаживаясь рядом, хотя Людмила ее не приглашала. — В Замшелое, поди, направляешься?

Людмила замерла. Второй раз за утро. Откуда они все знают?

— Да, — ответила она осторожно. — Сестру давно не видела. Веру.

Она снова подумала о том, что, возможно, опоздала, а бабка медленно кивнула, будто соглашалась с чем-то своим, давно известным.

— К Верке, значит, — повторила она скрипуче, но со странной мягкостью. — Хороша баба, Верка-то. Душевна. Я яе ишо девчонкой помню. Белобрыса така, все по грибы бегала с Федькой да робятами. А опосля он, горемычный-то, под колеса Подледному попал. Жалко парня. Всего-то пятьдесят годочков было, а ушел рано. А Верка молодец, в Замшелом и осталася. Ты ей передай, пушай свечку поставит за упокой. За всех, кто в Повитухином Логе лежит.

— За кого?! — оторопела Людмила и отшатнулась невольно. — Что значит — «за всех»? И в каком еще Логе?

Бабка же посмотрела на нее долгим взглядом. Глаза у нее были почти белые, но в самой глубине, в зрачках, горели две черные точки, как угольки, которые никак не хотят гаснуть.

— За тех, кто не дошел, — сказала она просто. — За тех, кто ушел и не вернулся. За детей, что не народилися. За ма-

терей, что не дождался. За всех, кто в трясине лежит и покоя не знат. Вера должна смекнуть. А ты... и ты тож.

Она легко поднялась и пошла, не оглядываясь, вдоль перрона, шаркая разношенными калошами. Прошла мимо мужика с картошкой, мимо парня с гитарой, и вдруг — исчезла. Просто растворилась в утреннем воздухе, за рядами скамеек, за бабками с семечками, которые продолжали торговать, не замечая ничего странного.

Людмила вскочила. Сжала в руке кулек с семечками. Хотела окликнуть и побежать следом. Но тут за углом, со стороны шоссе, взревел мотор, и на привокзальную площадь вполз автобус. Старый облезлый «пазик» с мутными фарами и заляпанными грязью стеклами. На лобовом стекле красовалась табличка, приклеенная синей изолентой: «Замшелое». Дверь открылась с таким вздохом, точно автобус только что пробежал марафон и теперь умирает.

— По Замшелому есть кто? — крикнула кондукторша, довольно молодая еще женщина лет сорока, с красным лицом и сигаретой в зубах. — Садимся, садимся, через пять минут отправляемся!

Людмила схватила сумку и почти побежала к автобусу. Обернулась на прощание на перрон — и замерла.

Там, в самом конце, у туалета с облупившейся табличкой «М» и «Ж», стояла та самая старуха и смотрела на нее. Медленно подняв руку, она перекрестила Людмилу на дорогу.

— Едете? Так, заходите, женщина! — гаркнула кондук-

торша. — Я долго ждать не буду!

Людмила вскочила в автобус, чуть не споткнувшись о высокую ступеньку. Внутри пахло бензином, потом и чем-то сладковатым, как от засохших цветов. Сиденья были обиты дерматином, кое-где продраным, а из дыр торчала грязная серая вата.

Она прошла в конец и села у окна. Рядом никого не было — автобус заполнялся медленно. Вошли две бабки с авоськами, неопрятный мужчина с большой коробкой и молодая пара с ребенком, который сразу тонко и противно заревел. Кондукторша проверила билеты и хлопнула ладонью по железу:

— Трогай, Петрович!

Автобус дернулся, чихнул выхлопной трубой и покатил по разбитой дороге. За окном поплыли окраины Мглина — частные дома с палисадниками, где доцветали запоздалые георгины, гаражи-ракушки, покосившиеся заборы. Потом дома кончились, и началось поле.

Оно было бескрайним, желто-зеленым, с проплешинами кустарников, с редкими березами, которые стояли в одиночку, как брошенные дети. А за полем, ближе к горизонту, начиналось болото. Людмила узнала его сразу. По цвету — какому-то бурому, ржавому, с вкраплениями ярко-зеленых островков, где трава росла слишком густо и сочно, чтобы быть настоящей. По запаху, который просачивался даже сквозь закрытые окна, сырой, тяжелый, с нотками гнили. По

птицам, что кружили над ним низко-низко и не пели, только кричали, как будто их кто-то душил.

Она смотрела в сторону трясины и не могла отвести взгляд. Оно тянуло, звало и медленно шевелилось там, внутри себя.

Автобус тряхнуло на ухабе. Людмила мотнула головой и случайно глянула в противоположное окно, на лес, который подступал к самой дороге. И у обочины стояла старуха. Та самая. В черном платке. Она была в двух шагах от дороги, у кромки леса, и махала рукой Людмиле, не отрывая взгляда от автобуса.

— Твою ж... — выдохнула она и вжалась в сиденье.

«Этого не может быть. Она не могла обогнать автобус. Это просто похожая женщина. Или мне кажется».

Она зажмурилась, а когда открыла глаза, обочина была пуста. Потом обернулась назад. Никого. Только лес и дорога. Но автобус уже проехал метров двести, а пешком старуха не могла — не бежала же она за ними по лесу?

— Ты чего, мать? — спросил мужик с коробкой, сидевший через проход. — Плохо?

— Нет, — ответила Людмила севшим голосом. — Показалось.

Он посмотрел на нее странно, хотел что-то сказать, но передумал и отвернулся к окну.

Автобус ехал дальше. Дорога становилась все хуже — ямы, колдобины, следы от тракторных колес, заполненные

водой. Вода в них была черная, как деготь, и стояла неподвижно, даже когда колеса взбивали ее в брызги.

И вдруг Людмила отчетливо почувствовала, что запах тины стал сильнее. Намного. И тянулся не из окна.

Она посмотрела на пол под ногами. У сумки, на грязном полу автобуса, лежал маленький сухой листик. Ивовый. Такой же, как тот, что плавал в лужице в поезде. Она хотела нагнуться и поднять его, но автобус резко затормозил, и листик укатился куда-то под сиденье.

— Замшелое! — громко крикнула кондукторша. — Кто там, выходим!

Людмила подхватила сумку и вышла. Автобус взревел, чихнул и укатил дальше, оставив ее одну на пыльной обочине посреди поля, у самого края топи, которая дышала и ждала. Но она этого еще не знала.

Звук его мотора таял в воздухе, как сахар в горячем чае — сначала слышно, потом только ощущение, а после и вовсе ничего. Она сжимала ручку старой сумки, и слушала тишину. А далеко впереди угадывались первые избы деревни. Серые, старые, вросшие в землю по самые окна. И над ними, в белесом небе, кружили вороны. Молча, как будто знали: кричать здесь некому. Или незачем.

Она огляделась. Остановка представляла собой ржавый железный столб с обломанной табличкой, на которой угадывалось только «...ое», и автобусную будку из красного кирпича, а теперь бурого от времени и грязи. Стекло в будке

было разбито, и осколки валялись на земле, втоптаннные в грязь так давно, что стали ее частью. Внутри этой развалюхи, на скамье, кто-то оставил пустую бутылку из-под молока и тряпку, похожую на забытую кем-то детскую распашонку.

Дорога уходила вперед, к деревне. Серая лента с колеями, полными черной воды, в которой отражалось белесое небо. По краям росла трава — высокая, сочная, неестественно зеленая, как на кладбищах, где земля слишком хорошо помнит, что в ней лежит.

Деревня начиналась сразу за полем. Несколько десятков изб, вросших в землю по самые окна, с темными срубами и покосившимися заборами. Крыши были крыты шифером, кое-где дранкой, а одна — просто ржавым железом, на котором громоздились вороны, как черные плоды. Они сидели неподвижно и смотрели на нее. Все.

Людмила пошла по дороге, и деревня казалась ей чужой. За двадцать лет изменилось все — и заборы покосились сильнее, и крыши просели. Ноги вязли в пыли, смешанной с глиной, — после ночного дождя земля еще не просохла, и каждый шаг оставлял глубокий след, который тут же начинал заполняться водой. Она прошла мимо первого дома. Мимо второго. У третьего, на завалинке, сидели старухи.

Их было трое. Все в черном — платки, кофты, длинные юбки до земли. Они сидели неподвижно, как три галки на проводе, и смотрели на нее. У той, что посередине, лицо было такое старое, что казалось — ветер дунет, и оно рассу-

пется в пыль. Глаза их казались совсем светлыми, но в них горело что-то живое, цепкое, изучающее.

Людмила сдержанно, но вежливо кивнула, не сумев вспомнить ни имен, ни их самих.

— Здравствуйте.

Старухи не ответили. Только головы чуть повернулись, провожая ее взглядом. А она пошла быстрее. Spина горела под их взглядами, как под солнцем. У калитки крайнего дома, перед тем как дорога сворачивала к центру деревни, стояла женщина с большим, тугим животом, обтянутым плотной тканью платья в мелкий цветочек, прислонившись спиной к косяку. Руки ее лежали на округлом боку, лицо было открытым, румяным, и смотрела она на Людмилу с живым, ничем не омраченным любопытством. Светлые волосы выбивались из-под косынки, и на щеках горел тот особенный, глубокий румянец, какой бывает только у беременных — как налитое яблоко на солнце.

Женщина улыbnулась. Просто так, от души.

— Здравствуйте, — сказала она чуть хрипловато, но приветливо. — Вы к кому, коли не секрет? А то я гляжу, ходите тут, оглядываетесь.

Людмила остановилась. Сердце после старушечьего молчания на лавке оттаяло, но не до конца.

— Здравствуйте. Я... к Вере Кореновой. Она здесь живет? Я давно не была, вот и...

— К тетке Вере? — женщина оживилась, глаза засияли

еще ярче. — А вы ей кто будете? Родня, поди? Дети яе редко заявляются. Она у нас сказывала, что одна на свете осталася, а вы...

— Сестра, — сказала Людмила виновато. — Я Людмила.

— Ой! — женщина всплеснула руками, и живот ее колыхнулся под платьем. — Сестра! А тетка Вера и не гутарила ни разу. Думали, нету у ей никого. А вы вона как! А она ж через два дома отседова. Вон та изба, зеленая, с палисадником. Токмо вы не ждите ее тута. Она в магазин направлялася. Я мигом сбегаю, покличу!

— Не надо, — поспешно сказала Людмила и сама удивилась, как резко это вышло. — Я сама... Я подожду. Посижу у крыльца.

Женщина помолчала, разглядывая ее, и вдруг спросила, чуть стесняясь. — А вы, можа, ко мне зайдете? Я вона тута, рядом. Чайку попьете, покамест тетка Вера объявится. А то я одна, скучно сидеть-то. Да и вы с дороги, поди, устали.

Она хотела отказаться, но та смотрела так открыто, так по-хорошему, что язык не повернулся.

— Как вас зовут? — спросила, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Валька я, — женщина снова улыбнулась и погладила живот. — А вы в городе живете? Работаете там?

— Да, в Стародубе, — ответила Людмила. — В роддоме работаю. Акушеркой.

Валя вдруг замерла, потом лицо ее разом просветлело, и

она радостно всплеснула руками, совсем по-детски.

— Ой, да что ж вы сразу-то не сказали! Акушерка! Да тут у нас никого, фельдшер в соседней деревне, до Мглина далеко, а я вон... — она прижала руки к животу, и глаза заблестели. — А може... може вы послушаете? Гинеколог наш из Мглина сказыват, все хорошо, через месяц в роддом-то, а я пужаюся, вот. Первый раз все-таки. А вы, знамо, многое повидали. Може, зайдете?

Людмила посмотрела на ее живот, на руки, бережно его придерживающие, на лицо, в котором светилась такая надежда, что отказать было невозможно.

— Зайду. Обязательно. Ты не бойся. Все будет хорошо.

Валя просияла, кивнула, придерживая живот рукой, и скрылась за калиткой, напоследок крикнув:

— А тетка Вера через два дома! Зеленый забор-то, не ошибетесь!

Людмила постояла еще минуту, глядя на закрывшуюся дверь, и вдруг почувствовала холодок от мысли, что сейчас подойдет к Вериному дому, постучит, и сестра откроет. И что она скажет? Как посмотрит? Через двадцать лет — что там осталось?

Она поправила сумку на плече и медленно пошла дальше, считая дома. Третий от Валиного — зеленая калитка, крашенная когда-то, а теперь облупленная, забор покосился, крыльцо просело. Все чужое. И родное.

Людмила постояла у калитки, переводя дух. Ноги гудели

после дороги, в поясице ныло привычное, осеннее. Сердце колотилось, когда она ступила на вытоптанную тропинку. Она поднялась на крыльцо, переступила через высокий порог и села на лавку. Доски были холодные, промозглые, но она не стала проверять — заперто или нет. Боялась. Сидела на крыльце, как нашкодившая девчонка, и не знала, как переступить порог.

Прошло минут двадцать. Может, полчаса. Время в деревне текло иначе. Где-то за огородами протяжно и тоскливо ухнула выпь. Людмила ежилась, пряча руки в рукава плаща, и все прислушивалась к тишине.

Вдруг различила шелест пакетов, а потом тяжелое дыхание и шарканье ног по гравию. Из-за угла вышла Вера.

Она тащила хозяйственную, туго набитую сумку, опустив голову, и что-то бормотала себе под нос — то ли молитву, то ли список покупок. На ней был старый пуховый платок, из-под которого выбивались седые пряди, и ватник, застегнутый на все пуговицы, хотя настоящего холода еще не было.

Людмила как-то дергано поднялась. Вера остановилась и сначала просто смотрела, не понимая. Глаза у нее были уставшие, мутные от напряжения. Потом взгляд сфокусировался на лице сестры. Сумка выскользнула из рук и глухо ударилась о землю. Из нее с грохотом рассыпались по ступенькам упаковки спичек и свечи, которые покатались в грязь.

— Господи Боже... — выдохнула сестра. Голос дрогнул,

и лицо вдруг осветилось радостью. Морщины разгладились, глаза влажно заблестели. Она сделала шаг вперед, вскинув руки, чтобы обнять. — Люська... Люська, живая...

Но на полдороги остановилась. Руки опустились. Свет в глазах погас так же быстро, как зажегся. Лицо окаменело, стало чужим, закрытым.

— Ты чего здесь? — спросила она глухо, будто не ждала ничего хорошего. — Зачем прикатила?

Людмила сглотнула. Во рту пересохло, а язык словно прилип к небу. Она машинально достала из кармана телефон — взглянуть на время. Ни одной полоски сигнала.

— Не ловит? — усмехнулась Вера.

— Ничего, — Людмила повертела телефон в руке. — А у вас вообще связь бывает?

— Бывает. Токмо у сельсовета. И то — когда как. Года два уж так. Скажут, вышку починят, а воз и ныне там. Мы уж привыкли.

Она помолчала и добавила, как бы между прочим:

— А ты не звонила, я и не ждала. Думала, можно, и вовсе позабыла уж.

Людмила сжала телефон в пальцах.

— Я звонила, Вер. Два дня. А телефон не отвечал. Я испугалась, думала...

— Думала, померла? — сестра безрадостно усмехнулась. — Не дождешься. Живу покамест. Одна. Как и жила. Без сестры.

— Вер...

— Двадцать лет, Люда. — Вера говорила тихо, но каждое слово било, как пощечина. — Двадцать лет молчком. Ни звонка, ни письма. А теперя испугалася? Чего ж раньше не пужалася-то? Когда я Федю хоронила? Одна... Когда Колька на Север поехал, а попрощаться не с кем было? Когда Сережка женился, а рядом ни души?

Людмила молчала. Слова застревали в горле, колючие и беспомощные.

— Я не знала, — выдавила она наконец.

— А кто ж тебе виноват-то? — перебила Вера. Голос ее вдруг сорвался на крик. — Ты ж не хотела знать-то! Сама не возжелала!

Она медленно наклонилась, медленно и с кряхтением стала подбирать выпавшие свечи и спички. Руки дрожали. Людмила шагнула к ней, чтобы помочь.

— Не надоть, — резко сказала та, не глядя. — Не трожь. Сама я.

Людмила растерянно отступила. Стояла на крыльце, сжимая пальцы в кулаки, и чувствовала, как по щеке ползет слеза. Она не вытирала ее. Пусть. Может, Вера увидит и поймет, как ей стыдно и горько. А сестра собрала все в сумку и поднялась. Посмотрела на нее, на мокрую щеку, и лицо дрогнуло. Но она сдержалась и отвела глаза.

— Чаю, поди, с дороги хочешь? — спросила она уже спокойнее.

— Хочу, — сказала Людмила севшим голосом.

Вера кивнула и достала из кармана ключи. Долго возилась с замком — руки не слушались. Наконец дверь со скрипом отворилась.

— Заходи, — бросила она в темноту сеней. — Не студи избу.

И переступила порог, скрываясь в полумраке. Людмила постояла секунду, прислушиваясь к тишине, что навалилась снова. А потом шагнула следом.

Глава 3

«Не всяка обидушка словами мерится. Иная — как заноза: не видать, а ноет. И вытащить некому, и привыкнуть не можется».

— Старая поговорка Замшелого.

В сенях пахло сушеными яблоками, керосином и особенным, деревенским запахом, который въедается в одежду и не выветривается годами. Людмила сняла плащ и повесила на гвоздь. Руки дрожали.

Вера снова вернулась в сени и вернулась уже с сумкой. Прошла в кухню, поставила ее на лавку у стола и принялась греметь посудой. Людмила остановилась на пороге, глядя на сестру. Та стояла у печи спиной и нервно вытирала руки о передник. Плечи мелко вздрагивали.

В доме было чисто, уютно, по-деревенски просторно. Большая печь занимала пол избы. От нее тянуло теплом и чуть-чуть дымком. Полосатые самотканые половики лежали на полу. На столе, накрытом белой скатертью с вышивкой, расположились пузатый самовар, горка пирожков да разное варенье в розетках — вишневое, смородиновое, крыжовенное.

— Я не знала, что ты живешь совсем одна, — проговорила Людмила тихо. — Если бы знала...

— А что б изменилось? — Вера обернулась. Глаза у нее были красные, но сухие. — Заявилась б раньше? Али позволила б?

— Да, — твердо сказала Людмила. — Приехала бы. Позвонила.

Вера долго смотрела на нее изучающе. Потом вздохнула и достала из шкафа кружки.

— Садися. Чай стынет.

Они расположились за столом напротив друг друга. И Людмила только тогда обратила внимание: на боку сумки прилип сухой ивовый листик. Она замерла. Такой же был в поезде и в автобусе.

— Чего испугалась? — Вера обернулась, заметив ее тревогу.

Людмила подняла глаза. Сестра смотрела настороженно, а потом перевела взгляд на сумку.

— Осень, — пожала плечами она. — Листья опадают же. Неужто не видала никогда? Знать, прилип-то, покамест на земле валялася.

Она подошла, отцепила лист, покрутила в пальцах и бросила в печь. Тот вспыхнул и рассыпался в пепел. И Людмиле стало легче.

Между ними были кружки с дымящимся чаем, рассыпанные по клеенке крошки и двадцать лет молчания. Она смотрела на руки сестры — натруженные, с узловатыми пальцами, с темными пятнами на коже. Не такими она их помнила.

— Вер, — начала она. — Прости меня. За все прости. Дура я была. Гордая, злая...

— Ладноть, — перебила Вера дрогнувшим голосом, но держалась, стараясь не показывать особой холодности. — Чего уж теперя. Приехала — и ладноть.

Она отхлебнула чай и поморщилась — слишком горячий.

— Надолго?

— На месяц, — ответила Людмила. — Отпуск взяла.

Вера подняла на нее глаза. В них мелькнула то ли радость, то ли испуг.

— Месяц? — переспросила она. — А работа? А дома как же?

— Дома — нормально. К тебе я хотела, — сказала Людмила. — Если пустишь, конечно.

Вера долго молчала, а потом вздохнула, отставила кружку и вдруг улыбнулась старой, доверчивой улыбкой, которую Людмила помнила с детства.

— Куды ж я тебя дену-то? Сестра всеж-таки. Пущай и непутевая.

За окном уже смеркалось, где-то залаяла собака, заскрипела калитка. Обычный вечер в обычной деревне.

— Ну, сказывай, — Вера подперла щеку кулаком, но сказала это как-то дежурно. Словно и не интересно ей было, просто надо было чем-то заполнить тишину. Глаза у нее были голубые, с хитринкой, но казались равнодушными. — Как ты там? Как работа? Как жизнь?

Людмила откусила пирожок. Теплое тесто таяло во рту, капуста была чуть сладковатая, с луком, тушенная так, как только Вера умела. Она зажмурилась от удовольствия, но тут же пристыженно поникла.

— Работа как работа, — ответила она с набитым ртом. — Жизнь тоже. А ты-то как?

— А что я? — вздохнула сестра и откинулась на спинку лавки. — Старею, Люсь. Спина вот болит, к погоде крутит. Давление скачет. Таблетки пью, а толку... Колька звонит редко, раз в месяц, ежели напомним. Федька с Наташкой выросли, им не до бабки. Поинка все по командировкам мотается. Так замуж и не вышла. Тридцать три уж. Вот, что за характерна девка получилась! В тебя, поди. Сережка к Кольке на Север работать умчался с Олюшкой. Третьего ждут уж. Одна я тута с хозяйством маячуся. Куры, огород, забор чинить надоть — а кому?

— А мужики? — спросила Людмила, чувствуя, как чувство вины больно грызет совесть. — В деревне же мужики есть.

— Есть, — Вера махнула рукой. — Пьянь одна. Работать не хотят, токмо самогон глушат да баб лупят. Хороших мало осталось. Кто уехал, кто помер, кто спился. Молодежь в город валит, а здесьа одни старики да бабы.

— А Нина как? Поликарпова? — спросила Людмила. — Помню, вроде, неплохая девушка. Я тогда с ней только и подружилась. Она еще беременная была. Все мечтала, чтобы

дочка была. Ты, вроде, писала, что девчонка и родилась?

— А то ж, Катюха народилась! — оживилась Вера. — Она тута, с нами. А Нинка-то уж годков десять как схоронена.

Она шмыгнула носом и отвернулась. На глазах Людмилы выступили слезы. Единственный человек, которого она здесь помнила, уже умер. Хорошо, что к сестре успела.

— И как у дочки ее жизнь сложилась? Замуж вышла? Дети? — спросила она, чтобы скрыть горечь от услышанного.

— Ага, — Вера вздохнула, и в глазах мелькнула тень. — Вышла, да неудачно. Мужик-то ейный, царствие небесное, пьяный под машину угодил, пять годов уж. А она тогда, как раз перед самым горем энтим, на сносях была. Роды раньше сроку-то и начались, прям в огороде.

Она перекрестилась, вспоминая.

— Я ее тама и нашла. Услыхала крик да прибежала. Она уж синеть начала, дитя не выходит. Я шуму наделала, соседей созвала, вместе и спасли. Фельдшерица из Замостья токмо к концу подоспела. Выжили оба. Ванька вот растет.

— Слава богу, — выдохнула Людмила, и внутри шевельнулась знакомая профессиональная тревога, смешанная с облегчением. — И она одна теперь?

— Одна, — кивнула сестра. — Сына растит. Ой, такой постреленок растет, смех! А ко мне заходит, помогают по хозяйству. И воды наносит, и дров наколет, и в огороде подсобит. Сказывают: «Вы меня, тетя Вер, спасли тогда, я вам должная». Спасибо ей, а то я одна совсем не управляюся. Три-

четыре раза в неделю забегат, как с работы освободится. Она на ферме дояркой. Работа тяжела, а все одно мне помогают. Добра душа.

Людмилу снова кольнула совесть. Чужие люди помогают сестре, а она про нее забыла на столько лет.

— А свет-то у вас есть? — спросила она, оглядываясь на потолок, где висела обычная лампочка без абажура.

Вера махнула рукой.

— Есть, да толку? Уж два месяца как с перебоями. То вырубится, то еле теплится. Говорят, на станции чтой-то с трансформатором, а починить-то никак не сподобятся. То запчастей у их нету, то людей, то денег. Тьфу, одно слово — деревня. Мы уж попривыкли, свечки да керосинку наготове держим. Ты не пужайся, ежели ночью свет потухнет.

Они сидели так еще долго, но разговор никак не клеился. То Вера замолкала на полуслове и отводила глаза, то Людмила начинала фразу и бросала, не закончив. Чай давно остыл, крошки от пирогов засохли на клеенке, а за окном уже серело — день клонился к вечеру, так и не став по-настоящему светлым.

— А у нас тута совсем беспокойно в последнее время стало, — вдруг отстраненно сказала сестра.

Людмила насторожилась. Что-то в этом тоне было не так — будто та не делилась новостью, а предупреждала.

— В смысле?

— Да бабы шепчутся, — Вера понизила голос и огля-

нулась на дверь, словно кто-то мог подслушивать. — Мол, нечисть опять объявилась. С Повитухиного Лога. Ты ж помнишь, у нас болото-то рядом? Завсегда сказывали, что тама... ну, нехорошее место. Всю жизнь раз в сколько-то годков бабы на сносях помирают. А теперя — ужо две смерти за энтог месяц-то.

— Какие смерти? — Людмила поставила кружку на стол, чтобы не выдать дрожь в руках.

— Молодые бабы, Люсь, говорю, — Вера мелко перекрестилась. — На сносях все. Альбинке, Зинкиной дочке, ночью дите прям из пуза вырезали. Муж утром нашел — холодна уж была. И малец-то рядом с ей лежал... тож мертвый. Егора-то и забрали.

— Какого Егора?

— Да мужа ейного. Глушков, участковый наш, обмолвился, что он Альку-то... того. Из ревности. К кому? А бабы-то наши болтают — нечисть. С Лога.

Вера говорила быстро, сбивчиво, и все время косилась на Людмилу — не с ужасом, а с какой-то странной надеждой. Будто ждала, что та схватится за голову, закричит, соберет вещи и уедет первым же автобусом.

— Вырезали? — переспросила та. В горле пересохло, но не от страха — оттого, что сестра смотрела так, словно хотела от нее избавиться.

— А кто ж его знат, — Вера зябко повела плечами. — Глушков сказывал: ножом, мол, работал. А бабы шепчутся

— не мог Егор, и не нож то был вовсе. Нечеловеческое что-то.

— А раны? Что с ранами? — Людмила подалась вперед, забыв про обиды, про неловкость — включилось профессиональное. — Точно ножом? Может, животное? Или сама могла... осложнения?

— Да нет, — Вера покачала головой и вдруг недобро усмехнулась. — Ты все про свое, Людка. Про ножи, про анализы. А я тебе толкую — нечисть это. Глафира, упырица проклятая. И тебе тут нечего делать. Поняла?

Людмила замерла. Слова сестры ударили сильнее, чем любой рассказ об убийствах.

— Ты меня выгнать хочешь? — спросила она тихо.

Вера отвела глаза.

— Я хочу, чтобы ты жива осталась. Уезжай, Люсь. Покуда не поздно. Нечисть... она баб берет. А ты... ты ж баба. И сердце у тебя слабое с мальства, врачи-то говорили мамке.

— Я не беременна, — усмехнулась Людмила, но усмешка вышла горькой.

— И что ж? — возразила сестра, хотя это напоминание обожгло жалостью. — Все одно баба! А упырица, можа, и за просто так забрать! Нечисть.

— Маньяк это, Вер. Человек. Больной, безумный, но человек. Но ты права. Такие же не разбирают — беременная, не беременная. Убьют — не посмотрят.

Вера побледнела, но не отступила.

— А ты откудова знаешь, что маньяк? Ты ж в городе живешь, тама у вас асфальт да фонари. А тута — болото. Оно дышит, Люсь. Я сама видала огни над Логом. Сама слыхала, как оно кличет.

— Вот именно, — сказала Людмила, чувствуя, как внутри поднимается злость — не на сестру, на себя. — Ты слышишь, видишь, а я одну тебя оставляю? Уже бросила раз, когда Федя умер. И теперь тоже брошу? Неужели думаешь, смогу?

Вера вздрогнула, лицо ее вдруг смягчилось на одно короткое мгновение. Но тут же снова стало жестким и чужим.

— А нынче, значит, вспомнила? А кто тебя просил? — сказала она глухо. — Приехала без спросу, понимаешь, сидит тута, чай пьет... Не надоть мне твоей жалости. Я одна прожила двадцать лет, и ишо сколько даст Бог — проживу.

— Вер...

— Не Веркай! — голос сестры сорвался на крик, и она вдруг заплакала — зло, безнадежно, утирая слезы концом платка. — Уезжай, Люсь. Покамест я тебя... покамест я не сбрехнула чегой-то, о чем опосля жалеть буду. Уезжай.

Людмила смотрела на нее — сторбленную, чужую и такую родную — и чувствовала, как внутри все переворачивается.

— Не уеду, — сказала она тихо, но твердо. — Ты в меня хоть камнями бросай, хоть проклинай — не уеду. Я и так уже однажды бросила. Не прощу себе этого. И теперь ни за что не брошу.

Вера подняла на нее заплаканные глаза, хотела что-то ска-

зять, но только махнула рукой и отвернулась к печи.

— Да делай что хошь, — пробормотала она в стену. — Я тебя предупредила.

— А ты? Поехали со мной? — сказала Людмила, вставая и подходя к сестре. — В Стародуб. Поживешь у меня, пока тут...

— Не поеду, — отрезала Вера, не оборачиваясь. — Не проси даж. Дом у меня, хозяйство. Куры, огород. Могила Феденьки... И потом... — она помолчала и добавила тише. — А ежели нечисть, так она и в городе сыщет. От нее не спрячешься.

— Это не нечисть! — почти взмолилась Людмила.

— А кто ж его знат, — Вера наконец обернулась. Лицо у нее было усталое, опухшее от слез, но в глазах горело что-то живое. — Ты вон ученая, все по-своему меришь. А я тута живу. Чую, как земля под ногами стынет. И тебе не советую соваться-то.

Она прошла к столу, убрала кружки и смахнула крошки.

— Ладноть, — сказала она уже спокойнее. — Оставайся, коли так. Дня на три. Но я тебе вот что скажу, Люсь. Ты человек взрослый, сама решай. Токмо опосля-то не вини меня. Я тебя гнала — ты не поехала. Сама выбрала.

— Сама, — кивнула Людмила, улыбаясь.

Вера посмотрела на нее долгим, тяжелым взглядом, потом вздохнула и полезла в буфет за конфетами.

— Чайник согреть надоть. Остыл, зараза, совсем. Да и

темнеет уже. Завтра разговоры разговаривать будем.

Людмила взяла чайник и подошла к плите. Руки дрожали, но она не прятала их — пусть Вера видит. Пусть знает, что ей тоже страшно. Но уехать она не может. Не теперь.

За окном сгущались сумерки, и где-то там, за огородами, начинал свой неспешный, страшный танец Повитухин Лог. Но Людмила смотрела на сестру, которая гремела заслонкой, на ее седые волосы, выбившиеся из-под платка, на натруженные руки, и думала: «Не брошу. Больше никогда не брошу, родная».

— Вер, — она поставила кружку на стол и обхватила ее ладонями, словно искала тепла. — Расскажи еще про... ну, про эти смерти. Ужас какой все-таки... А вторая женщина?

Вера долго молчала и смотрела в свою кружку, на остывшую заварку и нервно теребила край платка.

— Анька то, — наконец выдохнула она. — Внучка Поле-сьевых. Помнишь Варвару-то?

— Тех, что...

— Тех самых. Дом-то их опосля смерти пустой долго стоял. Ромка, сын-то, опосля школы сразу уехал — в город, на стройку. Сказывали, женился там, детей завел. А в Замшелое боле ни ногой, — она вздохнула и покачала головой. — А тута, года три назад, Анька заявила. Молчунья така, страх! Даж «здрате» не всегда бросит. Но вообще девка хороша была, уважительна. Дом расчистила, участок, курей завела. А опосля пузо расти начало. Ясно всем стало — брюхатая

уж прикатила.

— И кто отец? — спросила Людмила, хотя понимала, что ответа не получит.

— А кто ж его знает? — Вера пожала плечами, но как-то неохотно. — Ее не корили. Мало ли, что там у ее приключило. Время теперь не такое, чтоб пальцем тыкать. Да и боялися ее, честно сказать. Уж больно странна была.

— Странная?

— Ну, — Вера понизила голос, хотя в избе никого, кроме них, не было. — Она ночами к трясине хаживала. Сказывали, соседи видали. Выйдет за калитку, когда все спать залягут, и — на Лог. Иной раз до утра там пропадала. Уж и фельдшерица наша, Любка, пыталася с ей говорить — мол, опасно, место гиблое. А Анька молчком, глазами хлопнет и уйдет.

— И что с ней произошло? — Людмила подалась вперед, чувствуя, как сердце начинает биться чаще.

— Нашли ее тама, — Вера махнула рукой в сторону окна, за которым темнел лес. — Утром. Рыбаки заприметили. Лежит на кочке, глаза открыты. А живот... вспоротый.

Людмила замерла. В голове защелкали шестеренки — профессиональные, ввевшиеся в кровь.

— А ребенок?

— Девчущка, — Вера перекрестилась. — Рядышком, в тряпице зачуханной. Мертва тож. Анька, видать, ее из себя вынула да положила подле. И кровью истекла. А дочка... от

холода, знать.

— И никто не слышал? Не видел?

— Ночью-то? — Вера горько усмехнулась. — Кто ж в ночь к Логу сунется? Тама и днем-то страшенно, а в темень — тем паче. Да и Анька — она ж молчалива была. Можно, и звала кого. Да кто б услышал?

Людмила молчала. Внутри нее что-то дернулось и заныло — как старый шрам перед дождем.

— А зачем она по ночам на болото ходила?

— Кто ж знат-то? — Вера качнула головой и приподняла плечи, будто сбрасывала невидимую тяжесть. — Можно, травы какие собирала. Можно, просто гуляла. Девка она была тихая, ни с кем не зналася. Родителей нету, мужа нету, одна с пузом-то мыкалася. Можно, ей на болоте... спокойней было.

— Спокойнее? — удивленно переспросила Людмила. — В месте, где нечисть водится? Вы же в это верите!

— А ты не лезь, — резко сказала Вера. Голос ее вдруг стал жестким и чужим. — Не лезь, Люська. Я тебе так сказала. Чтоб знала, куды приехала. А разнюхивать да разбирать — не твоя забота.

— Моя, если сестра здесь живет, — отрезала Людмила. — Два случая за месяц. Один почерк. Если это маньяк, он будет продолжать. А следствия здесь нет. Глушков, говоришь, участковый? Много он может?

— А ты что можешь-то? — вскинулась сестра. — Ты —

врачиха, а не сыщик. Приехала — и отдыхай тогда уж. А не лезь, куды не просят.

— Я боюсь за тебя... Понимаешь? Боюсь.

Вера замерла. На миг лицо ее дрогнуло, стало мягче, словно она хотела обнять и успокоить. Но тут же снова закаменело.

— Не надоть за меня пужаться. Я тута живу. Привыкла. А ты... ты уедешь скоро. И забудешь. Опять...

— Не забуду.

— Забудешь, — повторила Вера обиженно. — Как тогда забыла. Как столько лет не вспоминала даже.

Людмила хотела возразить, но слова так и застряли от справедливого замечания. Какие могут быть оправдания? Вера смотрела на нее с усталой, горькой обидой, и в этом взгляде читались и похороны Федора, и годы молчания, и одиночество, которое никто с ней не разделил.

— А про отца ребенка что говорят? — спросила Людмила, чтобы перевести разговор.

Вера отвела глаза.

— Молчат. И ты молчи, Людка. Не надоть про энто. Не наше то дело. Ромка ее в город хоронить увез. Ни с кем и словом не обмолвился, как бирюк на всех глядел.

— Но кто-то же...

— Я сказала — молчи! — Вера стукнула ладонью по столу, так что кружки подпрыгнули. — Не трави душу. Полно уж.

— Вер, я...

— Спать тебе надобно, — перебила сестра, даже не обернувшись. — С дороги же, устала.

— Вер, я серьезно. Если это маньяк, а не...

— А я тебе говорю — спать. Не лезь ты в энто. Не твоего ума дело. Убивства энти... не для городских умов они.

Людмила сжала кружку так, что побелели пальцы.

— Ты же сама сказала — две смерти за месяц. Если третья случится, а я могла бы помочь, чем-то...

— Ничем ты не поможешь! Потому как не человек энто. Глафира. Упырица. А супротив ее ни твоя медицина, ни твои смекалки не возьмут.

Она подошла к столу, взяла со стола недопитую кружку Людмилы и понесла к раковине. Движения были резкие, злые.

— Неужели ты веришь в это? По-настоящему веришь?

Вера замерла. Секунду стояла не двигаясь, а потом медленно обернулась.

— А ты не верь, — сказала она тихо. — Ты ученая, тебе видней.

— Вер...

— Хватит! Не хочу я про энто говорить. И тебе не советую.

Она вытерла руки о передник и шагнула к двери, ведущей в маленькую комнату.

— Тама ложися. Простыни свежие, подушка пуховая.

Иди. Завтра будет завтра.

— Вера, — Людмила встала, сделала шаг к сестре и протянула руку, но Вера отшатнулась, будто от удара.

— Не трожь, — прошептала она. — Не трожь меня, Люсь. И не пытай. Я сказала — спать. Все.

Она развернулась и вышла, оставив дверь приоткрытой. Людмила слышала, как в соседней комнате скрипнула кровать, как Вера тяжело вздохнула и затихла. Она постояла посреди кухни, глядя на закрытую дверь, на полоску света, что пробивалась снизу. Потом подошла к столу, взяла Верину кружку с отбитым краем и машинально поднесла к губам. Чай давно остыл, был горьким и невкусным.

«Не хочет говорить, — подумала она. — Боится. И меня боится. И за меня. И за себя».

Она пошла в свою комнату. В темноте споткнулась о порог и нащупала рукой косяк. Легла, не раздеваясь, и уставилась в потолок. Глаза привыкли к темноте, и она разглядела знакомые трещины на побеленной извештке — никуда не делись за двадцать лет. И от этого стало почему-то легче.

За стеной посапывала Вера. Иногда вздыхала, иногда ворочалась, и эти звуки — живые, родные — перекрывали тот холод, что поселился между ними.

«Уехать? — подумала Людмила. — Не могу. И остаться страшно. И бросить... не могу».

Она закрыла глаза и долго лежала, прислушиваясь к ночи. Думала о сестре, о том, как завтра снова попытается загово-

рять, и снова наткнется на стену.

Спать не хотелось — тело ныло от дороги, а в голове все крутились Верины рассказы. Альбина. Аня. Мертвые дети, которые лежали рядом с матерями.

«Зачем? — не понимала она. — Кому это нужно?»

А под утро, когда сон уже начал забирать ее в свою черную глубину, она услышала тихий, надорванный вскрип за стеной. И поняла: Вера не спит. Плачет. Так же, как плакала двадцать лет назад, когда хоронила Федора, а сестры не было рядом.

Людмила хотела встать и подойти, обнять, сказать «прости». Но тело не слушалось. Только слезы сами потекли по щекам.

— Прости, — прошептала она в темноту. — Прости меня, дуру.

За стеной вскрипы стихли. И ей вдруг почудилось, что кто-то плачет. Тонко, жалобно, как маленький ребенок. Она резко села на кровати и прислушалась. Тишина.

— Показалось, — сказала вслух, но сама себе не поверила. Снова легла и наконец провалилась в тяжелый сон.

Людмила проснулась от того, что было слишком тихо. Она открыла глаза и долго смотрела в потолок, не понимая, где находится. Потом вспомнила. Замшелое. Вера.

За окном все еще было темно. Настоящая, деревенская чернота, когда не видно собственной руки, если вытянуть ее перед собой. Только чуть светлел прямоугольник окна — и там угадывался лес, а в нем был тот Повитухин Лог, что уже наводил на Люду ужас.

Она прислушалась. Вера похрапывала за стеной — тихо, мирно, по-старушечьи. Где-то скрипнула половица — то ли дом оседал, то ли мышь пробежала. А потом она услышала за окном что-то странное.

Звук шел из леса. Сначала Людмила подумала, что это ветер в камышах. Но ветра не было — стояла мертвая тишина, ни один листок не шевелился. Потом — что это выпь. Но выпь кричит низко, ухающе, а это звучало... иначе. Тонко. Жалобно. Почти по-человечьи. Детский вскрип.

Людмила села на кровати, прижав одеяло к груди. Сердце безудержно колотилось. Она успокаивала себя: «Глупости. Ночь. Непривычное место. Природа. Звуки разносятся странно».

Но вскрип повторился. Теперь явственнее. И в нем было что-то детское, беспомощное. Будто маленький ребенок плакал там, в темноте, за лесом, у края трясины. Плакал и звал. Кого? Маму?

Людмила встала. Ноги сами понесли ее к окну. Она отдернула занавеску и взгляделась в темноту. Ничего. Только чернота и редкие, едва заметные далеко впереди болотные огни. Они плясали, перемигивались, то вспыхивая ярче, то

затухая почти до точки.

Плач стал громче. Теперь Людмила отчетливо слышала: там кто-то есть. Кто-то маленький, одинокий, кто не знает, как вернуться домой. И он зовет... ее.

Она положила ладонь на стекло. Оно было ледяным, как та вода в поезде.

— Кто ты? — прошептала она одними губами.

Плач стих. На мгновение повисла мертвая тишина. А потом из темноты донесся шепот. Она не разобрала слов. Это был просто звук — шипящий, влажный, похожий на то, как вода засасывает что-то в трясину. Но она поняла его смысл. Там кто-то знал ее имя. Кто-то ждал ее.

Людмила отшатнулась от окна, задернула занавеску, нашарила лампу на тумбочке и зажгла ее. Свет разогнал темноту по углам, и сразу стало легче. Комната обрела обычные очертания — кровать, стул, тумба.

Она долго сидела, глядя на огонек лампы, и слушала тишину. За окном больше ничего не было слышно.

— Все хорошо, — сказала она себе. — Просто усталость. Нервы. Все ночи странные, когда ты в чужом доме.

Она потушила лампу и легла, накрывшись одеялом с головой. Долго не шевелилась, прислушиваясь к каждому шороху. Но тишина хранила молчание. И только когда сон уже начал забирать ее в свои владения, она услышала снова. Тихо. Едва слышно. Почти ласково.

— Лю-ю-юдми-и-ила...

Она замерла.

— При-и-иди ко мне-е-е...

Голос был детский. Но старый. Древний, как этот чертов Лог. И в нем звучала такая тоска, что у Людмилы сжалось сердце. Она не ответила. Лежала, зажмурившись, и молилась богу, в которого никогда не верила, но сейчас просила, чтобы это прекратилось.

И все действительно закончилось. Голос стих, но эхо его все еще дрожало в воздухе. Она лежала, вцепившись в одеяло, и боялась даже дышать.

Она зажмурилась, пытаясь успокоиться. «Это не может быть реальностью. Это галлюцинация. От усталости, от этих рассказов, от смены обстановки. Или... или там действительно кто-то есть? Маньяк прячется в лесу и пугает людей?»

Решение принесло странное облегчение. Она повернулась на бок и приказала себе спать. Ночь тянулась долго, но больше никаких голосов не было. «Надо уезжать. Завтра же. Что-нибудь придумаю. И Веру уговорю поехать со мной. Хоть на неделю. Нельзя ее здесь оставлять одну».

Глава 4

«Коли во сне тебе в очи приглядятся — запомни, какого они цвету. Може, то единственное, что тебе и доведется разглядеть, опосля того как проснешься. Иной раз глянут — будто в колодец, и нету тому взгляду ни дна, ни берегов. А иной — ровно звездочки, теплы, домашни. Так и мечено: кто с добром пришел, а кто — по свою душу». — Из слов травницы Лукерьи Верещагиной.

Два дня пролетели как один тягучий сон, в котором все было немного не так, как надо.

Вера хлопотала по хозяйству — гремела ведрами, поправляла занавески, стирала, выметала сор из сеней. Делала все молча, быстро, не глядя на сестру. Людмила помогала — чистила картошку, полола грядки, носила воду из колодца. Руки делали привычную работу, а в воздухе между ними висело невысказанное. Да и мысли все время возвращались к тому разговору за чаем. К несчастным Альбине и Анне. К мертвым младенцам, лежащим рядом с матерями. К словам сестры: «Нечеловеческое что-то».

Сестра, будто почувствовав, что Людмилу тянет расспрашивать об убийствах, сама переводила разговор. Про огурцы — в этом году у всех уродилось так много, хоть на пять зим засаливай. Про соседского кобеля, что опять кур в трех дво-

рах передошл. Про керосин, который теперь нужен особенно, а запасти вдоволь только Хомяков сумел и спекулирует, чуть ли не вдвое набавляя цену.

Слова произносила быстро, деловито, и в голосе иногда проскальзывало раздражение на то, что приходится вообще говорить. А однажды, когда Людмила осторожно спросила про Альбину, Вера резко оборвала:

— Не надоть про энто. Я сказала — не надоть.

И отвернулась к печи, давая понять, что разговор окончен. Но через минуту уже подавала сестре чистое полотенце, и голос звучал обычно, по-домашнему:

— На-ка, вытри руки-то. И чайник ставь, я пирогов до-стану.

На третий день, ближе к вечеру, Вера повела сестру к колодцу, что стоял на развилке у старой раскидистой ивы. Показала, где лучше набирать воду — из левого сруба, там чище. И тут же они столкнулись с Манькой-веселушкой. Та полоскала тряпку в корыте и при их появлении выпрямилась, улыбнувшись во весь рот.

— Ой, Людмила Сергевна! — всплеснула руками Манька и уважительно кивнула. — А я вас давеча на лавке приметила. Думаю, вроде знакомая, а вроде нет. А энто ж вы! Вы ж приезжали как-то давно, лет двадцать как. Маленька така

были, худенька, все с книжкой сживали. Нисколько не изменились!

Людмила всмотрелась в круглое, румяное лицо, обрамленное цветастым платком, и где-то в глубине памяти действительно шевельнулось смутное узнавание. Кажется, эта бойкая женщина когда-то торговала на рынке семечками или пирожками. Или просто вечно мелькала перед глазами в прошлые приезды.

— Манька-то наша, веселушка, — подсказала Вера, усмехнувшись. — Ты ее не помнишь? Она ж везде первая. И на лавке, и у колодца.

— Помню, помню, — вежливо кивнула Людмила, хотя на самом деле ловила в памяти лишь смутный образ говорливой женщины.

Манька, не переставая улыбаться, вдруг посерьезнела, глянула куда-то в сторону леса, где за крышами угадывался край Повитухина Лога, и сказала негромко.

— А ты, милая, тута не задерживайся. Не к добру ты в энтот раз приехала-то. Видать, упырица-то не на шутку разбушевалася...

— Мань! — Вера шагнула вперед, загораживая сестру собой. — Ты чего мелешь-то? Человек токмо приехал, отдохнуть хочет, а ты...

— Да я ничего, — Манька снова натянуто улыбнулась. — Я ж как лучшее. Попросту чую я... Ну да ладноть. Пойду я, дела ж.

Она подхватила корыто и, не прощаясь, засемила к своей избе. Сестра же проводила ту взглядом и покачала головой. А потом резко повернулась к Людмиле. Глаза были злые.

— Баба-то она добра, да язык — помело. Вечно каркат, а сама не знат чего. Ты не слушай, — бросила она и не дожидаясь ответа спешно направилась к дому. Людмила едва поспевала за ней.

— Ты огурцы-то не трожь, — говорила она ровно. — Они вон там, под укрытием. Я сама опосля мокрицу подергаю. Позже они молча пололи грядки. Она краем глаза видела, как Вера иногда останавливалась, смотрела куда-то в сторону леса, и лицо ее становилось чужим, застывшим. А потом сестра встряхивала головой, будто отгоняла что-то, и снова склонялась над грядками.

Сон не приходил — сначала была только темнота, в которой ворочалась усталость за день и никак не могла улечься, найти себе место. Людмила вертелась вместе с ней, скидывала одеяло и натягивала снова. Слушала, как за стеной посапывает Вера, как где-то далеко, за огородами, ухает выпь — уныло, будто кукушка считает чьи-то годы. Но дрема все же взяла свое и темнота расступилась.

Она стояла на краю Повитухина Лога. Но болото это

светилось. Изнутри, от самой воды, поднималось золотистое, теплое сияние, какое бывает в церкви от множества свечей, когда смотришь на иконостас и, кажется, что все лики ожили, внемля молитве. Туман мерцал, переливался перламутром, и в нем угадывались очертания тропинки. Узкой, едва заметной, но ведущей куда-то вглубь. Туда, где свет становился гуще, словно кто-то разлил расплавленный мед.

Людмила сделала шаг. Нога ступила на мох — мягкий, пружинистый, совсем не болотный. Сухой. Теплый.

— Иди ко мне, — сказал кто-то. Голос был тихий, детский, но слышался отчетливо, точно говорили прямо в ухо. — Не бойся. Я здесь.

И она послушалась. Тропинка вилась между кочек, обходила зеркальца воды, в которых отражалось не небо, а что-то другое. Лица? Тени? Людмила не всматривалась, боялась отвести взгляд от дорожки.

Но потом подняла голову и увидела мальчика. Он стоял на тропинке, шагах в десяти. Неподвижно, как изваяние. Свет падал на него откуда-то сзади, золотил волосы, и они казались не просто светлыми, а прозрачными, как у ангелов на старых иконах. Худенький, тонкий, в длинной, не по росту рубахе — такие раньше носили деревенские мальчишки, подпоясываясь веревкой, чтобы не спадала. Она была старая, выцветшая, но чистая. Босые ноги чуть касались мха.

Людмила подошла ближе. Мальчик тепло смотрел на нее

разными глазами: один светло-карий с зелеными крапинками, а другой темный. И в этом взгляде была такая глубина, что можно смотреть вечность и не увидеть дна.

— Ты кто? — хрипло спросила Люда.

Мальчик улыбнулся. Грустно, совсем по-взрослому, так что у нее сжалось сердце.

— Я тот, кто ждал тебя, — произнес он тихим голосом, но она слышала каждое слово. — Ты долго шла.

— Откуда ты меня знаешь? — она шагнула еще ближе. Теперь их разделяло не больше двух шагов. — Мы никогда не встречались.

— Встречались, — он покачал головой. — Только ты не помнишь. Ты многих не помнишь. А я храню память обо всех.

Он протянул очень худенькую руку с длинными, почти прозрачными пальцами. На ладони лежал маленький узелок, перевязанный суровой ниткой в три оборота. Узел был затянут туго, но не намертво — казалось, стоит потянуть за кончик, и он развяжется сам.

— Что это? — спросила Людмила.

— Развяжешь — узнаешь, — напевно ответил мальчик. — Только не сейчас. Потом. Когда поймешь.

— Что пойму?

Он посмотрел на нее долгим взглядом. В глазах мелькнуло что-то такое, от чего у Людмилы перехватило дыхание. Тоска. Бесконечная, старая, как это болото, как эти леса, как сама земля под ногами.

— Что я тоже хочу домой, — сказал он тихо. — Что я тоже жду... тепла.

Людмила протянула руку, чтобы взять узелок, но пальцы прошли сквозь ладонь мальчика. Он таял. Прямо на глазах растворялся в золотистом свете и становился прозрачным, как тот туман, что стелился над болотом. А она почувствовала такое щемящее сожаление, что не могла сдержать слез.

— Не уходи! — выкрикнула она. — Постой!

— Я не могу уйти, — донесся голос уже откуда-то издадека, с той стороны света. — Я всегда жду. Ты только не бойся. Ты — та, кто сможет. Я знаю.

И исчез. Остался только вздох. Тоненький, едва слышимый, но такой отчетливый, что Людмила вздрогнула всем телом.

— Я так долго ждал...

Она хотела бежать за ним, кричать, звать, но ноги приросли ко мху. А свет вокруг начал меркнуть, туман сгущаться и превращаться в обычную ночную темень. Болото вдруг стало черным, страшным, нахохленным, каким ему и положено быть.

Людмила судорожно открыла глаза. В комнате было светло — солнце уже заливало половину кровати, играло зайчиками на стене, на полу, на старой тумбочке. За окном перекликались петухи, где-то гремели ведра, пахло утренним дымом и свежим хлебом.

Она села и прижала руку к груди — сердце бешено колотилось и никак не хотело успокаиваться. Она взглянула на ладонь — пусто. Ни узелка, ни нитки. Только линия жизни, линия судьбы и мелкая дрожь в пальцах. И... снова маленький ивовый листик на одеяле рядом. Она коснулась его, и тот рассыпался в прах.

— Сон, — сказала она вслух. — Просто сон.

Только голос прозвучал совсем неубедительно.

Она еще долго сидела, глядя в стену, а в мыслях все еще стоял тот мальчик. Его глаза, улыбка и слова, которые въелись в память: «Я тоже хочу домой. Я тоже жду тепла».

На кухне вкусно пахло сдобой и топленым маслом. Вера хлопотала у печи — поворачивалась легко, несмотря на возраст, будто не было за плечами ни шестидесяти семи лет, ни тяжелой жизни, ни похороненного два десятилетия назад мужа. Она была из той породы женщин, что умеют делать все: и скотину обиходить, и пирогов напечь, и беду обнять так, что та непременно отпускает.

При мыслях об этом у Людмилы снова подступил к горлу ком.

На столе уже дымились пирожки — румяные, пухлые, с поджаристыми бочками, разложенные на расшитом полотенце. Рядом стоял заварной чайник, укутанный в вафельное

полотенце, чтобы подольше держал тепло. Старые глиняные кружки — подарок матери Лидии на свадьбу, были чуть с отбитыми краями, но вымытые до блеска. Сахарница с желтым колотым сахаром. Банка с вишневым вареньем — прошлогодним, но все еще пахнущим летом.

— На-ка вот, ешь, — суетилась Вера, ставя перед сестрой тарелку и пододвигая пирожки. — С пылу жару. Я напекла, покамест ты дрыхла. Сегодня с яблочками. Помню, ты любишь.

— Спасибо, родная! Еще бы с черной смородиной. М-м-м!

— Дык, и с ей есть! И с творогом тож, — она как-то виновато улыбнулась, словно разрешила себе лишнее тепло и теперь корила себя за это.

— Ты просто волшебница!

Сестра не ответила, отвернулась к печи и загремела за-слонкой.

— Ну как спалось? — уже отстраненно спросила она, не оборачиваясь.

Людмила взяла один пирожок, отломил край, но в рот не положила. Она застыла, глядя в окно, за которым начинался необычно серый, неприветливый день.

— Нормально, — ответила она и сразу отвела взгляд.

Вера с минуту смотрела на сестру, прищурившись, как на незнакомый цветок в огороде — вроде красивый, а вдруг сорняк?

— Не ври, — сказала она просто, без нажима, но так, что спорить было бесполезно. — Я ж тебя, Люська, всю жизнь знаю. Ты когда врешь, у тебя ухо левое дергается. Вон, глянь-ка в зеркало — пляшет как бешено.

Людмила машинально потрогала мочку уха и только потом поняла, что попалась. Так же, как когда-то в детстве. Сестра всегда могла без труда поймать ее на лжи. Она невесело усмехнулась.

— Что случилось-то? — Вера подперла щеку рукой. — А-ну сказывай давай.

Людмила долго не решалась. Мешала ложкой в кружке, смотрела, как кружится заварка, как поднимаются со дна чашинки, будто маленькие утопленники. Но потом все-таки собралась с духом.

— Сон мне приснился, Вер. Странный.

— Ну сон — оно понятно, — кивнула сестра. — Мне тож всяко снится. Особенно опосля того, как...

Она не договорила. Этого и не требовалось.

— Мальчик, — продолжила Людмила. — Стоял на болоте. На Повитухином Логу. Помнишь, ты вчера мне показывала? Звал меня. Глаза у него... один светлый, другой темный. Я таких никогда не видела.

Вера перестала улыбаться. Лицо ее стало серьезным, даже строгим, точно она примеряла на себя роль не сестры, а кого-то другого — хранительницы каких-то тайн, о которых не положено знать неподготовленным.

— У Петровича, у Глушкова, дочка така была, — наконец сказала она негромко. — Родилася така. Давно уж, десяти годов не было, как утопла в трясине-то. Мать ее, Глушкова жена, с горя померла опосля, царствие им небесно.

Она замолчала, а потом вдруг, не глядя на Людмилу, с укором добавила:

— А ты б и не вспомнила, небось. У тебя ж свои дела.

Людмила вздрогнула, а та тотчас же засуетилась, подошла к ней вазочку с вареньем и быстро заговорила, стараясь загладить упрек:

— Ты ешь, ешь. Вишнево. Душисто дюже.

Она сдержала слезы, кивнула и потянулась к пирожку. И стала отвлекать себя мыслями о дочке участкового.

«Гетерохромия. Нечасто, но встречается. С медицинской точки зрения — просто особенность пигментации радужки. Никакой мистики. А утонула... что ж, дети тонут везде, не только здесь».

Она хотела сказать это вслух, но Вера смотрела так серьезно, что язык не повернулся спорить. Только спросила:

— А когда это случилось? Давно?

— Дык, годов двадцать уж будет, поди. Или близко к тому.

Она замолчала, потом добавила, глядя куда-то в сторону, за окно, где за огородами темнел край леса.

— Токмо ты не бери в голову, Людка. У нас тут место тако. Сны всяки привидятся. Особливо чужим. Видать, потому и гостей не дозовешься.

Эти слова больно резанули слух. Вера не простила. А, может, не простит уже никогда.

— Что значит «чужим»?

Сестра отвела взгляд. Долго смотрела на образа в красном углу, где теплилась лампадка, а потом быстро переkreстилась.

— Приезжие, говорю, частенько жалуются, — сказала она нехотя. — Снятся им сны странные. Про болото, про детей, про... ну, про всяко, что лучше не знать.

— А что именно им снится? — спросила Людмила, стараясь, чтобы голос звучал почти безразлично. — Есть какие-то закономерности? Или просто хаотичные кошмары? В медицине это называется «транзиторные психотические состояния на фоне смены обстановки». Воздух другой, вода, питание — все влияет.

— Я думаю, это воздух такой. Или вода у нас особенна. Или...

Вера запнулась, подбирая слова, и виновато посмотрела на сестру.

— Ну, место тако. Нехороше. Сама знашь, люди тута веками жили, всяко бывало.

— Какое — всякое? — не отставала Людмила. Она уже забыла про пирожки, про чай, про все на свете. — Ты расскажи, Вер. Я же чувствую: ты не договариваешь.

— А чего договаривать-то? — Вера махнула рукой, но вышло неубедительно. — Жили люди, рожали, помирали.

Сказки старушечьи — они на то и сказки, чтоб детей пужать. А ты взрослая, ученая, должна понимать. Воздух, говорю, особенный. Болотны испарения. В их, сказывают, микробов всяких полно, кои на мозги дают.

— Микробов? — Людмила криво усмехнулась. — Ты же в бога веришь, а про микробов вспомнила.

— А бог и микробов тож создал, — назидательно подняла палец сестра. — Для чево́й-то они нужны. Можно, для того, чтоб мы сны странны видали и не лезли, куды не просят.

Она встала и засуетилась у печи, давая понять, что разговор окончен. Но Людмила видела: сестра что-то прячет за молчанием. Что-то, о чем говорить не хочет. Или боится.

— Вер, — позвала она тихо. — А ты сама видела такие сны, когда сюда приехала? После того, как замуж вышла?

Вера замерла у печи. Спина ее напряглась, рука с ухватом остановилась на полпути.

— Видала, — вздохнув, сказала она после долгого молчания. — Давно, когда молодой была. Тож мальчишку видала. Глаза у его были... как ты говоришь. Стоял у окна и кликал. А я... я не пошла.

— Почему?

Сестра обернулась. В глазах ее стояли слезы, но она не плакала. Просто смотрела с какой-то странной смесью злости, жалости и страха.

— Потому что почуяла: ежели пойду — не ворочуся. А у меня уж дети были малые. Колька, Сережка... Не дозволено

мне было... — она запнулась, и вдруг лицо ее исказилось. — Ты не знаешь, каково это — выбирать! Ты ничего не знаешь, потому что...

Она осеклась, поджала губы и отвернулась. А через секунду добавила уже спокойно:

— И ты не ходи на болото-то одна, Люська. Ни ночью, ни днем. Не надоть.

Людмила хотела спросить еще, но Вера уже отвернулась, загремела заслонкой, и по избе поплыл запах горячего хлеба и печной золы. Она постояла еще у печи, не двигаясь, а потом вдруг резко обернулась, подошла к столу и налила сестре чаю до краев.

— Пей. Горячий. С мятой, как любишь.

И, не дожидаясь ответа, вышла в сени, оставив дверь открытой. Людмила слышала, как она всхлипнула там и сразу затихла.

Она еще долго сидела у себя в комнате, глядя в стену, а в мыслях стоял тот мальчик.

С кухни донеслись голоса — Вера с кем-то разговаривала и смеялась. Потом шаги, и в дверь робко постучали, будто боялись побеспокоить.

— Люсь, можно? — сестра приоткрыла дверь и заглянула в комнату. — Тута к тебе гости, познакомиться. Не прого-

нишь?

Она посторонилась, пропуская вперед молодую женщину. А рядом с ней, вцепившись в материнскую руку, стоял мальчишка лет пяти — вихрастый, с серьезными глазами и оттопыренными ушами, которые делали его похожим на забавного лесного зверька. Женщина широко улыбалась. В ней было столько тепла, что Людмила невольно улыбнулась в ответ.

— Это Катерина, — сказала Вера. — Соболева. Дочь Нины... помнишь Нину Поликарпову? Вы с ей дружили когда-то.

Людмила вздрогнула. Нина — единственная, с кем она близко общалась в Замшелом, кроме сестры. Добрая, тихая, тоже вечно с книжкой. Они вместе собирали грибы, болтали о пустяках, а потом она уехала — и Нина умерла. А она из-за своей гордости даже не знала об этом и не приехала на похороны. Еще одна вина.

— Катя? — переспросила она, вглядываясь. — Господи... Ты на мать не очень похожа.

— В отца, — Катя улыбнулась, чуть стесняясь. — Он у нас чернявый был, глазастый.

— Точно. А я Нину... хорошо помню ее, — Людмила запнулась. Хотела было произнести «прости, что не приехала», но не смогла.

Вера, стоявшая в дверях, отвела взгляд. Плечи напряглись, но она ничего не сказала.

Мальчик шагнул вперед, но держался настороженно, цеп-

ляясь за материнскую юбку. Глаза у него были темные, с длинными ресницами, и смотрел он на Людмилу с той особенной детской серьезностью, от которой взрослым становится не по себе.

— Сколько вам лет, богатырь? — подмигнула мальчику Людмила.

— Пять, — улыбнулась Катя. — Буквы уже учим, маму слушается. Правда, Вань?

Мальчик молчал, разглядывая Людмилу исподлобья. Потом вдруг спросил, не по-детски серьезно:

— А вы кто? Вы к тете Вере в гости приехали?

— Да, — улыбнулась Людмила. — Я ее сестра. Люда.

— А надолго останетесь? — Ваня подошел ближе, уже без страха.

— На месяц, — ответила она.

— Ого! — Мальчик присвистнул, и все засмеялись — даже Вера, хотя смех ее вышел каким-то сдавленным.

Ваня отпустил материнскую юбку, подошел ближе и доверчиво положил ладошку на колено Людмиле.

— А вы к нам придете? — спросил он. — В гости?

— Приду, — пообещала та и погладила его по вихрастой голове. — Обязательно приду.

— Ну, пойдем, — Катя поднялась и подхватила сына на руки. — Не будем мешаться.

— Завтра приходи, — сказала Вера. — Картошку подсобишь собрать. А то не управимся никак.

— Приду, обязательно.

В дверях Катя обернулась, посмотрела на Веру — и вдруг порывисто обняла ее.

— Спасибо вам, тетя Вер. За все.

Та замерла на секунду, а потом неловко похлопала Катю по спине.

— Ладно, ладно. Иди уж.

Людмила смотрела на них — чужих, но близких, спяяных общей болью и благодарностью — и чувствовала, как внутри закипает горькое, бесполезное «а меня здесь нет».

Дверь закрылась, и в комнате снова стало тихо. Вера вздохнула и покачала головой.

— Хороша девка, душевна. Замуж бы ей, а она одна с пацаном мается. Но ничего, Ванька растет умницей.

После завтрака Людмила вышла на крыльцо — размяться, проветрить голову, в которой после неловких разговоров с Верой все еще ворочались тяжелые мысли. Все смешалось в какую-то тревожную кашу, от которой хотелось отмахнуться, как от назойливой мухи. Но она не могла.

Деревня встретила ее особенной, наполненной множеством мелких звуков тишиной: где-то скрипела калитка, где-то кудахтали куры, где-то далеко, за огородами, постукивал топор — кто-то чинил забор. Пахло прелой листвой, дым-

ком из труб и чем-то неуловимым, болотным тянуло с той стороны, где за домами угадывался Повитухин Лог.

Людмила поежилась, хотя утро было теплым и уже катилось к обеду. Она поправила платок, накинутый на плечи, и зашагала по улице.

У дома бабы Паши, на лавке, уже сидели старухи. Три темных фигуры в черных платках, как три вороны на ветке. Баба Паша — сухая, с острым носом и цепкими глазами — первой заметила приезжую и ткнула локтем соседку. Матрена Тихоновна, грузная и медлительная, только повернула голову, а Манька-веселушка, наоборот, вся подалась вперед, заулыбалась было, но, встретив недовольный взгляд соседки, почему-то отвела глаза и уткнулась в вязание.

Людмила кивнула им, проходя мимо.

— Доброе утро.

— Добро, добро, — ворчливо отозвалась баба Паша, но голос ее звучал так, будто она желала всего, кроме добра. Остальные же промолчали.

Шепотки за спиной зашуршали, как мыши в соломе, но Людмила не обернулась. За эти несколько дней она уже привыкла к тому, что в деревне каждый новый человек — событие, а она тут еще и городская, еще и акушерка, еще и сестра Веры, которой двадцать лет не было. Есть о чем посудачить.

Она прошла еще немного и остановилась сама собой. У калитки соседнего дома стояла Валентина.

Сегодня молодая женщина не просто смотрела на прохо-

жих, а явно кого-то ждала. Стояла, привалившись плечом к столбу, и с нежностью поглаживала свой большой, круглый живот. У Людмилы на миг сжалось сердце, и проскользнула тонкая змейка белой зависти. Она сама не заметила, как замедлила шаг.

Валя увидела ее и засияла улыбкой — открытой, чуть застенчивой, какой улыбаются люди, когда очень хотят познакомиться, но боятся навязываться.

— Доброе утро, Людмила Сергевна! — окликнула она ее звонким, почти девичьим голосом, несмотря на положение. — Выспалися?

Людмила остановилась и тепло улыбнулась в ответ.

— Доброе. Более-менее. А вы как?

— Да я-то что, — Валентина снова погладила живот, и этот жест был таким естественным, таким материнским, что Людмила на мгновение забыла обо всех тревогах. — Я тута все думала... Вы ж акушерка, да?

— Акушерка, — кивнула Людмила. — Сейчас отпуск, вот. Двадцать лет не была.

— Ой, двадцать лет! — Валя всплеснула руками. — Это ж сколько всего изменилося! У вас там, в городе, поди, все по-другому. А у нас тута... все по-старому. Куры, огороды, да болото.

Она немного помолчала, а потом решилась.

— А може спросить? — Валя замялась, теребя кончик платка. Щеки ее вспыхнули румянцем — густым, деревен-

ским, каким краснеют только те, кто не привык просить помощи. — У меня срок-то, почитай, подходит. Пужаюсь ма-ленько — вдруг что не так? Покамест до Мглина-то до-едешь... А фельдшер наша, Любка, в Замостье ж. Баба она хорошая, добрая, а по нашей, по бабьей части, сами понима-ете — не ученая. Роды ж такое дело... Страшно.

Она замолчала и потупилась, будто сказала что-то непри-личное. Пальцы все продолжали крутить и мять платок, и видно было, как в ней борется желание попросить и страх показаться навязчивой. Ну кто она такая, обыкновенная со-седка, чтобы городскую акушерку, да еще и в отпуске, отры-вать от отдыха? Неудобно же. Человек приехал сил набрать-ся, а тут со своим животом лезут.

Но в этот момент малыш толкнулся изнутри — сильно, требовательно, словно тоже просил: «Не молчи, мам, не упу-сти». И, сглотнув, Валя робко подняла глаза. В них плеска-лась такая отчаянная надежда, что Людмиле стало неловко от возникшей жалости.

— Може, зайдете? Обещались ж давеча, — выпалила Ва-ля и снова вспыхнула, залилась краской до самых ушей. — Хоть послушаете, как он тама? А то я одна, мужа-то нету, по-мочь, ежели что, некому, да и спросить больше не у кого. Бог вас сюда послал. Я б хоть поспокойней была.

И замерла, боясь услышать отказ. Людмила на мгновение заколебалась. Неудобно как-то, с незнакомым человеком, в чужой дом... Но профессиональное любопытство и привыч-

ка помогать пересилили.

— Зайду, конечно, — кивнула она. — Только ты подожди минутку, я за инструментом схожу к сестре. Стетоскоп в сумке оставила.

Валентина удивилась и заулыбалась.

— Ой, у вас и инструмент свой? Ну вы прям настоящий доктор!

— Почти, — усмехнулась Людмила. — Без него уже как без рук.

Она поспешила к Вере и заскочила в дом. Сестра как раз мыла посуду.

— Вер, я к соседке зайду, Валю посмотрю. Она просила.

Та обернулась, вытерла руки о фартук, и лицо ее осветилось теплой, довольной улыбкой.

— Ой, Люська, правильно! Иди, иди, помоги девке. Она одна тута мается, ни мужа, никого. А ты сходи, посмотри. Можно, и правда пригодишься. Люди тута свои, деревенски, они добро помнят.

Людмила взяла стетоскоп, который лежал на дне сумки, и вышла. Вера смотрела ей вслед и довольно кивала сама себе.

Завидев акушерку, Валя просияла, распахнула калитку и засеменила к дому, придерживая живот обеими руками. Людмила прошла следом.

В избе было чисто, но бедно. Стол, лавка, железная кровать, в углу — иконы с тусклыми лампадками. Пахло мышами и сушеной мятой.

— Ты ложись, — сказала Людмила, скидывая платок. — На кровать, давай. Посмотрим твоего богатыря. Срок какой, недель тридцать семь — тридцать восемь?

— Ой, а откуда вы знаете? И что хлопец, — растерянно протянула Валентина. — Мне Олег Валентиныч токмо в прошлом месяце сказал.

— Опыт, — улыбнулась Людмила.

Валя послушно улеглась, задрала кофту, обнажив большой, туго натянутый живот. Людмила присела рядом, положила ладони на теплую, чуть влажную кожу и прислушалась, закрыв глаза.

Ребенок отозвался сразу — толкнулся сильно, точно проверял, кто это там командует. Она повела руками по животу, осторожно, привычным движением, нащупывая головку, спинку, ножки.

— Ох и шевутной он у тебя, — усмехнулась она. — Жить будет долго и счастливо.

Валя засмеялась — легко, радостно.

— Живот уже опустился, недолго ходить. Но лежит правильно, головкой вниз. Таз у тебя... ну, не широкий, но родить должна. Если ребенок не крупный. А он, судя по всему, средний. Так что все будет хорошо.

Людмила сняла с шеи стетоскоп, привычным движением вставила оливы в уши и приложила головку к животу. На мгновение замерла, вслушиваясь в тот тайный мир, что бился там, внутри. Ритмичное, четкое, сильное сердечко стуча-

ло ровно, как метроном, как сама жизнь, которой еще только предстояло родиться.

— Сердце как часы, — сказала она, убирая инструмент. — Сто двадцать ударов в минуту. Можешь не волноваться.

Но что-то в лице девушки ее насторожило. Какая-то бледность, нездоровая, синеватая у губ. Или это просто игра света? Она пригляделась внимательнее и нахмурилась.

— Валя, а ты сама как себя чувствуешь? — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно, не выдавая тревоги. — Головокружения бывают? Слабость? Может, тошнит?

— Да нет, — та чуть виновато улыбнулась. — Все как обычно. Иногда кружится маненько, когда резко вскачу, но это ж у всех беременных так, правда? А тошнота давно прошла, еще в первый триместр.

— А боли? — не отступала Людмила. — Какие-нибудь странные ощущения внизу живота? Тянущие, резкие?

Валя задумалась, поглаживая живот.

— Ну, бывает, что тянет. Но мне говорили, это нормально, связки растягиваются. А вы... вы что-то видите, Людмила Сергевна? Что-то не так?

Людмила смотрела на нее и колебалась. Профессиональное чутье, что не раз спасало жизни, царапнуло изнутри. Но что именно? Бледность? Так она могла и от волнения. Синеватая у губ? Плохое освещение, тени от занавесок. Да и пальпировала она живот — все нормально, ребенок активный, пульс хороший.

— Да нет, ничего, — сказала она наконец, заставив себя улыбнуться. — Все в порядке. Просто я привыкла перестраховываться. Сорок лет работы — это не шутка, на всякую мелочь внимание обращаю.

Валя облегченно выдохнула, и лицо ее разгладилось.

— Ой, спасибо вам! — она села на кровати и схватила акушерку за руку. — Прямо камень с души!

— Не за что, — Людмила высвободила руку, но мягко, без раздражения. — Ты главное слушай свое тело. Если что-то покажется не так — схватки не вовремя, воды отойдут, кровь пойдет, — сразу ко мне. Или к Любе в Замостье. Но я здесь буду, так что... ты не одна.

Валентина смотрела на нее с такой благодарностью, что у Людмилы внутри опять что-то екнуло. Роды. Жизнь. А вокруг — смерти, о которых говорила Вера.

— Спасибо вам! — еще раз поблагодарила девушка. — А вы долго у тетки Веры?

— На месяц.

— Месяц! Вот хорошо-то! А то я все боялась, вдруг без вас... — Валя аж в ладоши захлопала, по-детски так, радостно, но тут же спохватилась, улыбка ее стала виноватой и смущенной. Она осеклась, замялась и потупилась. — Глупости это я, конечно, мелю. У вас своя жизнь, работа. Но, сами понимаете... так-то оно спокойнее, когда знаешь, что рядом есть человек, который разбирается и подсобить сможет, ежели что.

Людмила смотрела на нее и чувствовала, как внутри, в той пустоте, что жила в ней годами, что-то оттаивает. Крошечный кусочек льда превращался в каплю. Валя была такая живая, такая настоящая, такая... беременная. А это для Людмилы всегда было святым.

— Посмотрим, — ответила она мягко. — Ты главное не бойся. Роды — это не болезнь. Это работа. И ты с ней справишься. Я уверена.

Валя кивнула. В глазах у нее стояли слезы — счастливые, благодарные.

— Спасибо вам, Людмила Сергевна, еще раз. Прямо отлегло.

— Ну и хорошо, — Людмила улыбнулась. — Пойду я, пройду еще. А ты отдыхай, сил набирайся. Скоро они тебе понадобятся.

Она вышла от соседки, и только на улице, вдохнув свежего воздуха, поняла, что дрожат руки. На душе стало чуть теплее. Чужие слезы, чужая радость, чужая жизнь, которой она могла помочь, — это было ее, родное. То, ради чего она просыпалась каждое утро последние сорок лет.

И только когда деревня осталась позади, а впереди открылось поле и темная полоса болотистой земли, тепло это схлынуло, оставив после себя привычную пустоту. И тихий, навязчивый вопрос:

«Почему я сказала, что здесь буду? Я же ничего не знаю об этой деревне. Я здесь никто. На месяц. А вдруг Вера вообще

прогонит... А я уже обещаю».

Но ответа не было. Людмила помотала головой, отгоняя лишние мысли, и пошла к топи. Сама не зная зачем. Просто ноги несли. Повитухин Лог ждал.

Глава 5

«Перед лихой годиной завсегда тихошенько бывает. Да таково покойно, что слышать, как трясына дышит — воздыхает, ровно живое. И токмо дурни нечуйные того дыхания не чувят. А уж коли в ночи помстится тебе, что кто-то кличет, гласом тонким, жальниковым, — не оборачивайся, зась! А оборотился — ступай. Все одно не отступит, не ослобонит, до самого скона доведет. Знамо, твой черед приспел». — Из сказаний Замшелого.

Людмила остановилась на краю деревни, перевела дыхание и только тогда поняла, что не отдавала себе отчета, куда идет. Просто шла — и все. Будто кто-то невидимый взял за руку и повел, а она, как во сне, подчинилась.

— Глупость какая, — сказала она вслух, но голос прозвучал сипло и неубедительно. — Надо же, как развезло от деревенского воздуха.

Поле стелилось под ноги ровно, как выглаженное, — желто-зеленое, с редкими кустиками полыни и вкраплениями синих цикориев. Тропинка вилась меж ними узкой, едва заметной ниткой, протоптанной, видно, не одним поколением деревенских, что ходили сюда за клюквой или за камышом. Где-то далеко, на самом краю поля, маячила одинокая фигура — то ли человек, то ли ствол сухого дерева, — но Люд-

мила не всматривалась. Она смотрела туда, где за полем начиналось болото.

Повитухин Лог лежал в низине, будто в чаше, окруженный низкорослым ольшаником и ивняком. Отсюда, с пригорка, он казался не страшным — просто мохнатой зеленью, кое-где тронутой рыжими пятнами прошлогодней травы и спокойной водой, отражающей бледное небо. Солнце светило ярко, но когда Людмила сделала первый шаг по тропинке вниз, в лицо пахнуло прохладой — такой резкой, будто невидимая дверь открылась из ранней осени в промозглую.

Она поежилась и запахла кофту плотнее. Запах пошел другой: вместо полыни и нагретой земли — сырость, прелость и что-то сладковато-гнилостное, от чего щекотало в носу. Пахло так, как в подвалах, где хранят прошлогодние овощи, или в старых колодцах, куда редко заглядывают. Но здесь не было ни того, ни другого — только вода, камыши и тишина.

Людмила остановилась на последнем твердом пяточке перед тем, как тропинка ныряла в болото, и долго смотрела на Лог. Рогозы стояли стеной — высокие, бурые, с сухими метелками, которые чуть подрагивали, хотя ветра не ощущалось. За ними угадывалась вода — черная, гладкая, как старое зеркало, в котором ничего не отражается. А дальше, над самой трясинной, висела дымка — легкая, зеленоватая, будто болото дышало.

Птицы молчали. Людмила только сейчас заметила: ни

крика, ни щелбета, ни привычного пересвиста. Тишина стояла такая плотная, что в ней слышно было, как стучит сердце. И вдруг отчетливо почудилось: там кто-то есть. Не злой. Просто наблюдает. И ждет.

«Странно, — подумала она, — почему меня сюда тянет? Никогда не была склонна к спонтанным прогулкам. Может, подсознательно ищу объяснения тому, что услышала? Или просто любопытство — профессиональное, человеческое? Надо будет потом проанализировать этот симптом».

Она усмехнулась про себя: сама себя лечит, как в анекдоте. А потом неожиданно вспомнила мальчика из сна. Его разные глаза. Его слова: «Я тот, кто тебя ждал». И от этого воспоминания по спине пробежал холодок, не имеющий ничего общего с болотной сыростью.

— Чепуха, — сказала она громко, почти сердито. — Сорок лет в роддоме, а туда же — в приметы поверила. Воздух, испарения, микроорганизмы...

Она говорила это себе, а сама не могла оторвать взгляда от черной воды. И чем дольше смотрела, тем яснее понимала: что-то другое. Что-то, чему нет названия, но что живет здесь давно — может, сто лет, может, двести, а может, и все пятьсот.

Ветер шевельнул камыши, и по воде пошли круги. Мелкие, едва заметные, будто кто-то бросил камешек далеко-далеко, в самой середине болота. Людмила замерла, вглядываясь. Круги расходились, гасли, и на их месте, в черной глади,

вдруг мелькнуло что-то светлое. Лицо? Да нет, показалось.

Она сделала шаг назад. Потом еще один. И еще.

— Я не пойду, — сказала она вслух. — Я здесь ни при чем. Я просто в отпуске.

Слова прозвучали жалко и как-то по-детски беспомощно. Она разозлилась на себя, резко развернулась и зашагала обратно, вверх по тропинке, туда, где за полем виднелись крыши Замшелого.

Она не оборачивалась. Но спиной, затылком, каждой клеткой чувствовала: Повитухин Лог смотрит вслед. И ждет.

Обратная дорога показалась длиннее. Ноги гудели, кофта, похоже, промокла насквозь, хотя сырость осталась там, в низине. Людмила шла быстро, почти бежала, и только когда снова ступила на деревенскую улицу, перевела дух.

У дома бабы Паши все так же сидели старухи. При ее появлении они разом замолчали и уставились так, будто она явилась с того света. Людмила кивнула и прошла мимо, чувствуя на себе эти взгляды.

— Людмила Сергевна, а ты чего это на Лог-то ходила? — окликнула ее Манька совсем не веселым голосом. В нем слышалась такая тревога, будто она увидела не живого человека, а покойника. — Не надоть бы туды, милка. Гляжу я на тебя, и сердце не на месте. Не ходила бы ты боле. Не к добру тама, ох не к добру...

Людмила остановилась и обернулась.

— Просто гуляла, — сказала она как можно спокойнее.

— Воздухом дышу. У вас тут хорошо, тихо.

Баба Паша хмыкнула и отвернулась. Тихоновна быстро перекрестилась. А Манька покачала головой.

— Ты энто... поберегися. Лог... он не для гулянок. Ему наших думок не надобно, он свое знает. Ты не ступай туды впредь, глупая. Ну его.

Людмила хотела спросить, что значит «свое», но передумала.

«Суеверия, — пронеслось в голове. — Почему они так уверены? Может, банальное внушение: столетиями твердят, что место гиблое, вот и верят. Психосоматика, самовнушение. Вон сколько случаев, когда люди умирали от того, что были убеждены в проклятии».

— Идем в дом, — бросила она уже в спину. — Борщ стынет. Она тряхнула головой, отгоняя наваждение, кивнула Маньке и пошла к Вериному дому. На крыльце, привалившись к косяку, стояла Вера. Руки в муке, лицо белое. Увидев сестру, она сначала шагнула навстречу, словно хотела обнять. Но на полпути остановилась и сцепила пальцы.

— Ты где была? — голос дрогнул, но тут же стал жестким. — Я уж думала... Хотела до Вальки бежать.

— Да так, — Людмила отвела глаза. — До болота дошла. Посмотрела. Вера всплеснула руками, и мука полетела в стороны.

— Ты чего, сдурела? Место ж гиблое! Сказывала же...

— Гиблое не гиблое, а красиво, — Людмила криво усмех-

нулась. — Не волнуйся, я далеко не ходила.

Вера хотела что-то добавить, но только махнула рукой и отвернулась. Людмила пошла за ней, но на пороге обернулась. Оттуда манил Повитухин Лог. Невидимый отсюда, но осязаемый — как заноза под кожей, как слово, которое вот-вот сорвется с языка.

— Я не пойду туда больше, — пообещала она себе шепотом.

И сама не поверила.

Вечер опускался на Замшелое нехотя, словно знал, что ночь принесет вместо желанного отдыха, тревогу. Людмила помогала сестре по хозяйству — чистила картошку на ужин, мыла посуду и вытирала пыль с полок, где рядом с фарфоровыми статуэтками стояли старые фотографии в потертых рамках. Руки делали привычное дело, а мысли... мысли были там, за околицей, у черной воды Повитухина Лога.

— Да нет, — Людмила виновато уткнулась в раковину. — Просто задумалась. Вера делала вид, что полностью поглощена своей работой: перетирала одну и ту же тарелку уже в третий раз, поправляла полотенце на печи, отодвигала заслонку и тут же задвигала обратно. Но Людмила чувствовала ее колючий, изучающий взгляд. — Ты чего все в окно глядишь? — наконец не выдержала сестра, и в голосе проскользнуло

раздражение. — Ждешь кого?

Вера подошла, встала рядом и тоже посмотрела в окно. За огородами уже зажигались первые болотные огоньки. Бледные, зеленоватые, они мерцали вдалеке, как глаза невидимого зверя.

— Зачем ты на Лог нынче ходила? — спросила вдруг она, не глядя на сестру. — Манька сказала, как чумная назад оборачивалась.

— Да так, гуляла. Просто посмотреть пошла.

— Посмотреть, — Вера усмехнулась невесело, даже зло. — Ты, ученая, а туды же — «гуляла». Тама чутья надобно. А чутье у вас, городских, забито напрочь...

— Ладноть, — сказала она уже спокойнее, будто задвинула обиду обратно. — Ужинать пошли что ль. Она осеклась и поджала губы. На секунду в глазах мелькнул испуг.

Дотемна они возились по хозяйству. Вера рассказывала про соседей, про то, что Генка Михалев опять запил, что у Кати Соболевой коза окотилась двумя козлятами, что баба Дарья совсем плоха стала — еле ходит. Людмила кивала, поддакивала, но слова сестры пролетали мимо, не задевая разума.

Когда совсем стемнело, сестра замялась на пороге.

— Ты энто... ежели чего — кричи. Я чутко сплю.

— Что «если что»? — удивленно переспросила Людмила.

Та не ответила. Только махнула рукой — не то «спокойной ночи», не то «отстань». И скрылась за дверь, шелкнув засовом громче, чем было нужно.

Она погасила свет, легла на кровать и уставилась в потолок. В темноте он казался бесконечным — серое поле, на котором тени рисовали причудливые узоры. Где-то за стеной посапывала Вера, тикали настенные часы, да в углу шуршала мышь — обычные ночные звуки обычного деревенского дома.

Но был и еще один. Едва слышный, почти неразличимый, но когда она прислушалась, тот проявился отчетливее.

Со стороны Лога доносился странный шум. Не ветер — он сегодня стих еще вечером. Не зверь — они так не плачут. Это был звук, похожий на всхлип. Тонкий, надрывный, такой, что волосы на затылке зашевелились.

Людмила замерла, боясь дышать. Всклип повторился — тише, жалобнее, будто кто-то очень усталый и одинокий горько плакал в темноте, не надеясь, что его услышат.

— Показалось, — прошептала она одними губами. — Ветер в камышах. Или выпь. Выпи же так кричат.

Только она сама не верила своим словам.

И вдруг — голос. Не из темноты за окном, а прямо в голове. Тихий, детский, до ужаса знакомый по вчерашнему сну.

— Я... жду... тебя.

Людмила резко вскочила и села на кровати, вцепившись

пальцами в одеяло. Сердце лихорадочно стучало, мешая дышать. В комнате никого не было. Только лунный свет лежал на полу длинной полосой. И неожиданно у самого порога что-то шевельнулось. Тень. Бесформенная, маленькая, она скользнула к стене и исчезла.

— Нет, — выдохнула она, и профессиональная привычка взяла верх. — Это парейдолия. Мозг достраивает образы из случайных пятен света и тени. Плюс слуховая галлюцинация на грани сна и яви — гипнагогическое состояние. Я читала об этом. Слишком много впечатлений, плюс недосып, плюс смена часового пояса... Хотя какой пояс? Всего несколько сотен километров.

Она зажмурилась, приказывая себе успокоиться и сосчитала до десяти.

«А голос... Это мог быть ветер в трубе. Или просто усталость. У меня пульс высокий, надо бы давление померить».

И открыла глаза. Тени не было. Только лунный свет и тишина, нарушаемая лишь ее собственным дыханием.

— Ерунда какая-то, — хрипло сказала она вслух. — Нервы. Из-за сна. Из-за всего.

Она легла обратно, натянула одеяло до подбородка и снова уставилась в потолок. Долго лежала, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому вздоху ночи. Сердцебиение постепенно восстанавливалось, дыхание выравнивалось, а веки тяжелели. И в тот момент, когда уже почти провалилась в сон, тишину разорвал отчаянный вопль. Один. Короткий.

Обрывающийся на полуслове, будто кто-то хотел закричать, но не успел. Он донесся с улицы. Со стороны дома Вали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.